



ТОМ ВТОРОЙ

ЕЛЕНА КРЮКОВА

СОЛДАТ И ЦАРЬ

Елена Крюкова

Солдат и Царь. том второй

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18324166

ISBN 9785447470050

Аннотация

Трагедия Первой мировой войны. Трагедия русской революции 1917 года. Трагедия расстрела последней русской царской семьи. Эти три трагедии будут приковывать к себе внимание. Книга Елены Крюковой – о красноармейцах, стороживших семью Романовых в Тобольске и в Екатеринбурге. Молодой боец Красной Армии Михаил Лямин – и царь Николай Второй. Царское семейство, уже обреченное – и народ, что несет у его комнат последний караул.

Содержание

Книга вторая	5
Глава шестая	5
Глава седьмая	108
Конец ознакомительного фрагмента.	180

Солдат и Царь
ТОМ ВТОРОЙ
Елена Крюкова

© Елена Крюкова, 2016

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2016

Редактор Галина Шарова

Корректор Майя Федотова

ISBN 978-5-4474-7005-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга вторая

Глава шестая

«26 (13) февраля, ночь

Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством. Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыл всю жизнь важным чиновником, под глазами – мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос – теноришка – раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распорядится. Везде он.

Господи, Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.

Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкоснуться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана».

Александр Блок. Дневники 1918 года

Опять ночь, и опять не спать. Раньше они привыкли к дисциплине. Когда их арестовали и сослали, дисциплина рухнула: ее расстреляли, а потом сожгли.

Царица, в ночной сорочке, расчесывала волосы и все пыталась царя: знаешь ли ты что-нибудь об этом страшном человеке? О ком, моя прелесть? О Ленине.

И царь вздыхал. Ему не хотелось беседовать об этом на сон грядущий, но жена спрашивала, и он не мог ей отказать. Я мало знаю о нем. Но то, что знаю, и правда страшно. Он впустил германцев на Украину. Украины с нами больше нет. Там командуют австрияки. Он залил русскую землю кровью, ты же видишь, текут реки крови, и я, царь, уже не в силах это остановить. Я подслушиваю речи красной охраны. Я слышу ужасное. Он пытается в подвалах и расстреливает невинных людей. Многие уезжают. Боже, Боже мой, Ники, почему же мы, мы не уехали?!

Царица клала изящную английскую расческу на край табурета. Вместо туалетного столика – кривоногий табурет. Вместо ковров – грязные ситцевые тряпки, чтобы закрыть по стенам дождевые потеки и кровавые следы раздавленных клопов.

Кто пустил его во власть? Никто. Откуда он появился? Никто не знает. Вроде бы, милая, он жил за границей. И, кажет-

ся, люди говорили, что когда-то, давно, мой отец повесил его старшего брата. За то, что он был террорист. И покушался на жизнь моего папа.

Какой негодяй, шептала царица и приглаживала ладонями седые волосы, какая дрянь! Вдруг прижимала руку ко рту – так она делала всегда, когда слишком волновалась. А ты не думаешь, милый, что он арестовал тебя, нас всех, потому, что хочет нам всем – за брата – отомстить?

О, нет, наверное нет. Он, видимо, просто сумасшедший. Умалишенный. Русь, милая, всегда славилась юродивыми. Они ходили по площадям, городам и деревням, собирались, нищенствовали и пророчили. Да! Пророчили! Но ведь не убивали же никого! Да, юродивые Христа ради никогда не убивали никого. А этот – страшен. Он просто с виду здоров. Он пишет и произносит речи, отдает приказы, объявляет мобилизацию, вот из отбросов, из ненавидящих нашу жизнь Красную Армию создал. А на самом деле он – страшный больной. Он болен. Он, милая, тяжело болен. Он требует хорошего лечения, но его не излечишь. Он упивается своей болезнью, он обожествляет ее. Это я чувствую. Все, что не ложится под его красные идеи, должно быть уничтожено, раздавлено, застрелено, сожжено. И приспешники его такие же. Но, видно, он умеет красно говорить, он зажигает толпу. Народ идет за ним, как за Крысоловом из Гаммельна. О! Милый! Крысолов из Гаммельна! Моя любимая сказка в детстве. Но я так боялась, так боялась этого Крысолова!

И вот... мы до него и дожили...

Ты видишь, видишь, какие он бросает лозунги в толпу? Когда в Тобольске мне еще доставляли газеты пачками, я все, все читал. Смысл всех его речей и воззваний был один. Какой же, солнце? Не молчи! Говори! Когда ты говоришь, мне легче!

И царь быстро, смущенно, торопливо, боясь причинить боль, но опасаясь и утаить правду, говорил, и царица жадно ловила эти тихие, гладкие бусины катящихся по кровати, по полу слов, таких с виду обычных, а на деле – их люди произносят один, два раза в жизни, а может, и никогда: знаешь, Sunny, он освобождает людей от страха убийства. Ну да, да, так просто, он развязывает всем руки, он развязывает совесть, он... думает так, и вслух говорит так: убивайте, убивайте, убивайте, сжигайте, стреляйте, насилуйте, грабьте, режьте, рубите, топчите ногами – все можно, все в вашей власти, нет страха, все – ваше, Бога – нет! И, милая моя, толпа... толпа слушает его, и загорается, и орет, и рычит, и хочет – всего... всего того, чего у нее нет... и не было... Солдаты говорят: у него такие глубокие, такие печальные, думающие, такие бездонные глаза. Глаза – без дна. Он пишет свои декреты и морщит лоб, и прикрывает эти глаза без дна тяжелыми веками. Я читал эти декреты, солнце. Это декреты умалишенного. Это каракули безумца. Все отнято у буржуев и поделено. Отобрать и поделить! Он не раз повторял это в своих речах. Красные в восторге от этого. Они наизусть

учат эти декреты! А там!.. там... там все наше имущество отнято у нас и роздано всем, самым последним нищим, там буржуи в поте лица работают на заводах и фабриках, и станки отрезают им руки и раздавливают ноги, там у крестьянина земли – не то чтобы надел, а – вся страна! Вся! У каждого! А женщины там, darling, женщины... ты не поверишь... но не затыкай уши... поделены между всеми мужчинами... нет жен и мужей... а женщины – всеобщие жены, они принадлежат всем...

Царица сидела, слушая, с прижатой ко рту ладонью. Но ведь милый! милый! он ненавидит Россию! Как же надо ненавидеть Россию, чтобы вот это все делать с ней!

Царь, в солдатском исподнем, лег на кровать и подложил руки под затылок. Он сначала сморщился всем лицом, будто хотел заплакать и не мог, потом все морщины разгладились, брови расправились и полетели по лицу балтийской, забытой чайкой.

Ненавидеть? Россию? Он едва не смеялся. Еще немного, и смех разорвет его рот, его щеки. Жена прижала ладоши к щекам и застыла, глядя на него ледяными, зимними глазами. Милый, что с тобой? Тебе плохо? Тебе... может, воды принесу? Да. Нет. Да, ненавидеть! А разве Россию можно любить? Ну вот скажи, разве можно? Россия свергла нас с трона, унизила, растоптала, мотает по кошевам, пароходам и поездам по Сибири. Россия, милая, может, Ленина давно ждала! Ждала и заждалась! И – дождалась! Ей – Ленина надо

было! Не меня! Не отца! Не моего несчастного деда с кровавыми культями вместо ног! Не царей, нет! Ей, солнце мое, надобны жестокость и кровь, и она всегда, всегда такая была, наша Россия, – а я, дурак, не знал... не понимал, не признавал... и теперь... только теперь...

По спокойному, странно светлому, чистому лицу катились спокойные, медленные слезы. Руки так же были закинута за голову. Ворот исподней рубашки отогнулся. На волосатой, уже седой груди блестел медный нательный крест. Жена встала перед кроватью на колени и покрыла поцелуями эту родную грудь, руки, припала к меди простого, как у мужика, крестика. Ладонями отерла с его лица слезы. Это родное, до морщины знакомое, жестоко, на глазах стареющее лицо было сейчас так чисто, светло и ясно, как никогда; будто никакая грязь, никакой ужас, кровь и безумие его никогда, даже краем, не касались.

* * *

Они все вооружены. Все до единого с оружием.

Хорошо Авдеев их вооружил.

Не царей убивать, конечно; они ж не изверги. Это если на них кто-нибудь извне полезет.

А ведь полезут, вот ей-богу, святой истинный крест... тьфу ты, опять это богово, какое ж прилипучее, – честное слово, полезут. Неужели они, отправляя на волю письма, ни

в едином не обмолвились о своем спасении?

«Их спасение – наша смерть. Все проще простого. А потому, Мишка, смотри в оба и другим присоветуй. Ночью-то не спи».

Он не спал, если ночью Авдеев ставил его на охрану; пустил глаза во тьму, а весенняя тьма была светлая, голубиная. Пасхальные дни всегда такие. Небо нежней голубиной грудки. Поймай голубку и расцелуй ее в клювик! Она Господу привет понесет.

«Вот заладили: бога нет, бога нет. А ну как он есть?»

На лестнице сегодня стоят латыши, а еще молодняк, злоказовские. Со Злоказовского завода. Это Авдеев их пригнал: его рабочие дружки. Лица какие славные у них. Горят верой. Человек должен во что-то верить! Отняли Бога – веруй в революцию. Отняли царя – верь в Ленина, он не подведет. Он за всех болеет, одним пустым чаем у себя там в Кремле питается. Не спит. Склонен над картой. Смотрит на страну опухшими от бессонья глазами. Карта вся горит под его руками. Там и сям кострища, огни. Строчат пулеметы. Рвутся бомбы. Один город Ленин красным карандашом обведет. Другой – обведет. Стрелки нарисует: вот так движутся войска. Они там, в Европах, и эти, бывшие, контрреволюционеры, с ног сбились, на языке мозоли вспухли: убеждают друг друга и весь мир, что большевики – чума, холера, гибель, язва египетская. Ну, будет вам язва!

«Мы наш, мы новый мир... построим...»

– Эхэй, Микаил! Запарка, тшай, эст?

Михаил стоял на первом этаже, около лестницы. Со второго этажа, с последней ступеньки, через перила свешивался австрияк Фридрих Зееман.

– Фриц, спать тянет, да?

– Та, та! Йа! Тафай запарка!

Лямин полез в карман и вытащил пакет с заваркой. Пашка отсыпала ему на кухне, сама бумагу уголочками завернула.

Кинул пакет вверх. Австрияк поймал.

– Держи.

– О, данке, данке, топарисч!

Латыши, австрияки. Интернационал. Латыши молчаливые, словечка не изронят. Так и стоят на карауле с мраморными мордами. Мраморные белобрысые львы. Лямин сколько перевидал этих каменных львов у домов богатеев: в Самаре, в Саратове, в Тобольске. Символ власти! «Все, теперь львы – мы».

Еле добьешься от латышей, кого как зовут. Да у всех имена немислимые, похожи на немецкие: Генрих, Ингерд, Готфрид, Интарс. Да и покличешь – башку не обернут. Медленный народ. Зато стреляют хорошо. И лица, когда палят, такие же мраморные, твердые, невозмутимые.

И говорят только по-своему. Это беда: не поймешь, о чем. Может, мятеж хотят поднять?

Австрияки тоже лопочут по-немецки, но бойкие, оживленные, у них шило в заду торчит; стараются с нашими

солдатами заговорить, отношения завязать. Хотя сегодня ты тут – охрана, а завтра – ты в войсках Красной Армии, на фронтах, а послезавтра у тебя нет и быть не может. Вот и вся дружба.

А тянется, тянется человек к человеку.

Злоказовцы – другие. Эти – своя братва. Кричат, матерятся, а то и сцепятся – из-за махорки, из-за горбушки. И порой ножи в ход пускали. Да только комендант с ножами разобрался быстро: одного – к забору и шлепнул, другого домой, к мамке, отправил. Вон из революции. Парень пятился, выходя из ворот, плакал, размазывал слезы и сопли по щекам, с ужасом глядел на застреленного товарища. К порезанной руке портянку прижимал.

Злоказовцы несут вахту вокруг Дома. Это потяжелей, чем в Доме: на улице холодно, особенно ночами, да и опасней: кто угодно может прокрасться к забору и выстрелить, и бомбу кинуть.

Лямина редко ставили на внешнюю охрану. Он был – «внутренний». Домашний пес, шутил про себя.

Слишком много солдат. Все не вмещались в комнаты первого этажа. Авдеев расселил их в соседнем доме; раньше здесь жило семейство Попова. «Ты куда?» – «В дом Попова, на ночевку». – «А петух там у вас есть?» – «Зачем петух?» – «Чтоб будить». – «А я думал, чтоб – сварить!»

Фриц покостылял на кухню – заварить себе чаю. Лямин, понизив голос, крикнул ему в сутулую спину:

– Эй, и на меня завари!

Австрияк обернулся, и Лямин пальцами потер в воздухе, показал, что завари, значит, сложил пальцы в щепоть и вроде как чаю в стакан насыпал.

– Йа!

«Орем мы. Ее... разбудим».

...Пашка спала в кладовой. И запиралась изнутри.

Он как-то ее спросил: тебе там не душно? не задохнешься часом? – а она засмеялась: у меня воздуха в легких впрок запасено, я рыба глубоководная. И показала ему язык. Такой, озорной, обидной, она раньше нравилась ему. Теперь у него к ней осталось одно: боязнь, страх за нее. А на чем же ты спишь? Книги штабелями сложила и сплю.

Он видел, что она врет, но как докажешь?

За окном захрипел мотор. Что в авто ночью делает Люханов?

«Черт, может, проверяет. Может, Авдеев куда-то кого-то везти приказал. Но не царей. Все спят. Никто за ними не идет, будить их».

...как она... спит? Этого он не видит. Нет, видит.

Но не глазами.

...она спит так: голову повернула на подушке, лежит на спине, одна рука вздернута и повернута ладонью вверх, другая лежит на одеяле. Она хочет повернуться и не может. Ей снится сон. И ему снится сон. Ей и ему снится один и тот же сон.

...в этом сне – губы ощущали теплую кожу, колкие кружева, тепло, а вот жар, а вот еще жарче, это слишком пылающе, так нельзя долго. Можно не выдержать.

... – Эхэй! Микаил! Йа приносить тшай!

Он стряхнул морок. Принял из рук австрияка горячий стакан. Обжег ладони и сам своему детскому ожогу засмеялся.

– Спасибо, Фриц. Ты друг.

– Трук, трук, йа!

Фриц все время мерз и ходил даже в теплые дни в накинутой на плечи шинели.

«Сколько мы на фронтах таких вот австрияков побили, немцев, венгров – не счесть. А нынче они наши друзья. Трук, трук. Мировая революция это, вот это что!»

Лямин поставил стакан с коричневым горячим чаем на пол, на плашку недавно крашеной половицы.

Мировая революция представилась ему в виде страшной и прекрасной, громадного роста бабы, с полной голой грудью, с широченными, в три обхвата, бедрами; она стояла, оперев одну ногу в один город, другую – в другой, ее рыжие огненные космы бешено и весело развевались в ночи, и она волосами своими освещала непроглядную ночь – поля, леса, города с заводскими трубами, снега в лощинах, железнодорожные пути, старые тракты; стояла над землей, глядела сверху на людские города и хохотала, и что-то задиристое, путеводное кричала, и от ее яростного крика города загора-

лись, полыхали заводы и фабрики, трещали пулеметы, люди валились на снег площадей, осыпались, как песок или дряхлая известь со стены, царские дворцы, лопались жирные животы капиталистов, а баба все стояла, крепко уперев ноги в землю, опускала голову, и пламя с ее головы перекидывалось на материки, на дальние острова, на столицы и хижины.

«Мир хижинам, война дворцам... Вот точно так! Война – дворцам! Вся кровушка выпита из нас! Вы нами владели? Теперь вот тарелкой каши повладейте-ка! И та – вам не принадлежит!»

Мотор тархтел, тархтел, потом смолк. Лямин все-таки подошел к окну: а вдруг кто чужой мотор заводит? Рядом с автомобилем стоял Сережка Люханов. Он увидел Лямина в окне и успокаивающе поднял к плечу кулак: я тут, все в порядке, штатная проверка. Лямин кулак сжал в ответ. Так друг другу потрясли кулаками, и Лямин вернулся на свое место под лестницей.

Чай ждал его, как пес, у его ног. Он наклонился за чаем, и тут за дверью в комнате царей раздался тонкий женский стон, и он дернулся, носком сапога задел чай, стакан опрокинулся и чай вылился на пол. Он следил, как кипяток медленно течет по крашеной половице. «Вот и попил, и согрелся». Оглянулся: чем бы подтереть? – и рукой махнул: и так высохнет.

«Хорошо живем. Охраняем царя, хорошая служба. И денежку дают. И харч опять же. И...»

Перед глазами замельтешили, побежали конские морды, конские ноги. Уши услышали уже позабытый грохот. Снаряды летели, и пули свистели, и он – среди всего этого крошева и огня – тоже стрелял, а вокруг столбом вставала до неба страшная, оглушительная ругань, он в мире и в жизни своей никогда такого мата не слышал, как там, на войне.

«Война! Я ж воевал. Я что, туда опять хочу?! А ведь ушлют, ежели что. Вдруг что напортачу с царями этими. Или – Красной Армии солдаты понадобятся. И все, каюк: Авдеев напишет приказ, меня рассчитают, погрузят в мотор... потом в вагон... и... гражданская наша война большая... по всей России размахнулась... пошлют куда хотят... хоть в донские степи... хоть под Петроград... хоть под Иркутск... хоть...»

Медленно, шепотными стылыми губами, повторял себе: я же живой, я пока еще живой, потому что я тут, при царях, при царях.

«Цари мою жизнешку спасают, выходит так».

Что, он должен быть им благодарен? Как это раньше, при царях, говорили: «премного благодарен»...

...глаза слипались, и между ресницами мелькали, среди конских ноздрей и бешеных, угольных косящих глаз, женские глаза; они уходили и уводили, и он шел, а потом летел, и его губы уже целовали эти улетающие глаза, а женщина вроде бы сидела на коне, хорошо сидела в седле; да не женщина, а девочка, милый подросток, только у нее почему-то

сильные руки деревенской бабы – она и сено может граблями ворошить, и лопатой весь огород вскопает – не охнет... и вот верхом скачет... Маша... Маша!..

...я Пашка, Пашка я, а ты дурак!..

...и конские морды мотались и всхрапывали, и хвосты летели мимо, все летело мимо, мимо, все жглось, обжигалось, нельзя было ни к чему прикоснуться, все умирало на глазах, и даже плакать нельзя было, слезы все выжег огонь, и зрачки выжег, глаза вытекли, он видел нутром, а нутро – вот оно стонало, плакало и выло, оно рычало и орало, и рвалось надвое, а в него стреляли, и вылезали наземь и кишки, и сердце, и все дурацкие людские потроха, а они у нас такие же, как у коня, у свиньи, у всей на свете живности; человек! остановись! зачем ты убиваешь человека! Ведь ты же его не освежуешь, не съешь, в его шкуру не оденешься! Зачем...

... – Ты! Солдат Лямин! Почему спишь на карауле?! Э-э-э-эй, Лямин, так твою растак!

Михаил махнул башкой, как конь, и выпрямился, выгнул спину и выпятил грудь. Винтовку – к ноге.

– Виноват, товарищ Мошкин!

– А-а-а-ах, ты...

К нему слишком близко, так, что пахнуло отвратным перегаром, подошел Александр Мошкин.

Товарищ Мошкин, правая рука Авдеева. То ли его заместитель, то ли его ученик. Да просто помощник; парень на подхвате. Авдеев уходит на ночь к себе домой, в Доме

не ночует – вместо него тут торчит Мошкин. Он злоказо-
вец и, видно, старый приятель Авдеева. Солдаты странным
образом кличут его не Александр, а Гордей. Почему? «По-
вар Гордей, не отрави людей!» Мошкин поварешку отродясь
в руках не держал. Вот бутылку – это да, это с удовольствием
и всегда пожалуйста. Особливо на дармовщинку.

– Так-растак, Лямин! Повеселимся?! Али ночка не корот-
ка?!

Лямин держал винтовку крепко.

«А что, ежели попугать? Взять да и на него наставить».

«Он тебе потом такого наставит... не дури...»

– А у меня косушечка есть!

Вынул из кармана косушку. Поводил ею в воздухе.

– А еще у меня... вот что есть!

Вынул из другого большую сизую бутыль, в ней плеска-
лось мутное, белесое.

– Глафирка гнала. Ох, слезу вышибает! Закуска-то как?
Имеется? Али поварихой закусим? Ты не против? От задка
кусочек...

У Михаила перед глазами помрачнело.

– Ты, говори, да не заговаривайся.

– Сейчас народ разбужу! Эй! Народ!

Орал в полный голос. Из караульной высывались голо-
вы.

– А, повар Гордей.

– Мошкин это!

– Повар Гордей, не стражай людей...

Мошкин, держа в обеих руках водку и самогон, вращал бутылками не хуже, чем жонглер в цирке.

– Давай-давай, ленивцы! Отметим нынешнюю ночку!

– А што, Мошка, нонешняя ночка сильно отличацца от давешней?

На круглом веселом, лоснящемся лице Мошкина, скорее женском личике, с мелкими кукольными противными чертами, для мужика негожими, нарисовался таинственный рисунок. Он прижал к губам бутыл с самогоном, горло бутылки – как прижимал бы палец: тс-с-с-с.

– Тиха, тиха... Я вам щас... отдам приказ. Живо в гостиную! И валяйте оттуда – несите роялю в караульную!

Солдаты, потягиваясь, выходили из караульной. Кто не спал, стоял на часах – винтовки на плечи вскинул, подошел ближе: что за шум, а драки нет?

– Слыхали! Быстро – роялю – в караульную! Не... обсуждать-ть-ть!

Оглянулся на застывшего Лямина.

– А ты глухой, што ли, Лямин?! Или ты против?! А-а-а-ах, ты против... приказа?!

– Я не против! – Лямин прислонил винтовку к перилам.

Солдат Исупов схватился за ручку двери в гостиную и рванул дверь на себя.

«Вот так бы взять... и рвануть дверь... ту...»

Царям приказано не запирацца на ночь. Они выполняют

приказ. Они – послушные. Они – овцы.

Солдаты, стуча сапогами, вваливались в гостиную, обступали большой рояль, похожий на застылое черное озеро, озеро под черным льдом, – раньше инструмент стоял в чехле, да холщовый чехол содрали безжалостно – на солдатские нужды, на портянки.

– Эка какое чудище!

– Дык она же чижелая, рояля эта.

– А нас-то много.

– Ты, Севка, заходи с тыла! С тыла!

– А игде у ее тыл?

– Где, где! В манде!

– Давай, ребя, хватай! Подымай!

– Раз-два-взяли... еще раз взяли!

– Понесли-и-и-и-и-и!

Спускали рояль по лестнице, как чудовищный, для невероятного толстяка, черный гроб. Струны скорбно звенели. Толстые рояльные ножки ударялись о перила. Солдаты кричали, хохотали, шутили солено, жгуче.

– А ты всунь, всунь ей под крышку! И прищемит навек.

– Похоронную музыку умеешь играть?! Не умеешь?! Так научись.

– А точно, боком на бабу похожа! Так бы и прислонился.

– И ножки у ней, и жопка!

– А кто из нас наилучший музыкант?

– Да вон, Ленька Сухоруков! Он такую музыку игрывал

в окопах! И на костях, и на мудях...

– Лень, и чо, народ слушал?

– Слушал, ищо как! И денежку кидал!

– Ну ты арти-и-и-ист...

Кряхтя, задевая боками рояля о стены, шумно, с криками и прибаутками, наконец, перетащили рояль в караульную комнату. Подкатили к окну.

– Ой, у ее и колесики... славно...

– Пошто к окну водрузил! Таперя к окну не подойдешь, фортку отворить!

Мошкин качался в дверях, все обнимал, лелеял свои бутылки.

– Вот, отлично, хорошо, люблю! Муз-з-ыку...

– Эй, тяни стаканы!

– А мы из горла. По кругу.

– Заразишься какой-нить заразой!

– А ты чо, больной? Не дыши на меня!

– Да ты ж не доктор, дышите, не дышите...

Федор Переверзев уже тащил гармошку. Уже перебирал пальцами по перламутровым пуговицам, растягивал меха.

Мошкин, шатаясь, добрался до рояля. Ему услужливо пододвинули стул. Он сел, проверил задом, крепко ли, хорошо ли сидит, покачался на стуле взад-вперед, даже попрыгал; откинул крышку, нежно, пьяно погладил клавиши.

– Ух ты моя маленькая, роялюшка моя. Как давно я на тебе не играл. А вот щас поиграю на душеньке моей.

Обе руки на клавиши положил.

Михаил смотрел: черная-белая, черная-белая, и так торчат в рояльной пасти все эти зубы – то черные, то белые. В ночи – светятся. В караульной темно. Илюшка внес зажатую керосиновую лампу. В лампе, внутри, трепетал, умирал и рождался опять смутный, мерцающий сквозь всю закопченную жизнь, хилый огонь. Красный. И тут красный. Странный красный фитиль, красно горит.

«И неужто будет играть? Брямкать по этим черным, белым зубам?»

Мошкин вжал пальцы в клавиши, а потом побежал ими по клавишам, и из рояля полезли, поползли, а потом и полетели упрямые звуки. Звуки жили отдельно, а Мошкин отдельно. Неужели он все это делал своими руками?

«И где только научился?»

Мошкин запел мощно, пьяно, фальшиво и все-таки красиво.

– Ах, зачем эта ночь! Та-а-ак была хороша... Не болела бы грудь! Не страдала б душа!

Солдаты знали эту песню. Подхватили.

– Полюбил я ийо-о-о-о... Полюбил горячо-о-о-о! А она на любовь... смотрит так холодно...

Лямин крепко почесал себе грудь поверх гимнастерки. «Фу, пахну, стирать одежду надо, в баню надо. Когда еще поведут?»

В стекло часто, мотаясь под теплым сильным ветром, била

усыпанная крупными зелеными почками ветка.

«Будто сердце бьется».

– И никто не вида-а-ал... как я в церкви стоял!.. Прислонившись к стене-е-е... безутешно... рыда-а-а-ал!

– Слышьте, ребята! Кончайте вы это уныние! Оно же и смертный грех, однако! Однако давайте-ка наши, родненькие припевочки! Эх-х-х-х!

Илюшка нес стаканы, вставленные один в другой, высокой горкой. Раздавал стрелкам. Солдаты брали стаканы, вертели, переворачивали, нюхали.

– Чисто ли вымыт, нюхашь?

– А как иначе! Выблюешь же, ежели – из грязи пить!

– Да по мне хоть из лужи, был бы самогон крепкий!

– Повар Гордей, наливай!

Обе бутылки, притащенные Мошкиным, стояли на рояльной крышке.

Мошкин встал, качнулся, но удержался на ногах; зубами открыл одну бутылку, вторую, ему подносили стаканы, и он наливал так – из обеих рук. И ни капли на пол не сронил, такой аккуратный.

Солдат Переверзев закрутил, завертел гармошку, растянул, сжал, гармошка издала пронзительный визг, потом зачастил, забегал пальцами по пуговицам, и сам зачастил голосом, выталкивая веселые жгучие слова из щербатого рта:

– Ты куда мене повел,

*Такую косолапую?!
Я повел тебе в сарай,
Немного поцарапаю!*

Частушку подхватил, вернее, вырвал изо рта у Федора покрасневший после глотка водки Илюшка. Он подбоченился, вцепился себе в ремень, выставил вперед ногу в гармошкой сморщенном сапоге.

*– Гармонист, гармонист,
Торчат пальцы вилками!
Ты сыграй мне, гармонист,
Как бараю милку я!*

Подскочил, упер руки в боки Степан Идрисов:

*– Эх, яблочко,
Ицо зелено!
Мне не надо царя,
Надо Ленина!*

Все пили. Опустошали стаканы.

Стакан в руке у Михаила обжигал лютым холодом, запотел, будто стоял на льду или в погребе, и вот его вытащили и втиснули ему в кулак.

Он пил, глотал, самогон дохнул в него чем-то былым, забытым, – домашним. Пьянками, пирушками из детства – когда разговлялись на Пасху, когда, после смертей и поминок,

друзья притекали к отцу, стукали четвертями об стол, рассказывались и сидели долго, и пили, и голосили песни, и быками ревели: плакали так.

Федор кинул Лямину через веселые шары, теплые кегли голов, юно и бодро подбритых, косматых, седых, лысых:

– А ты чо не поешь? Али не наш, не русский?!

Самогонка хватила обухом по голове. Все цветно и пылко закружилось, заблестело восторгом и слезами. Лямин поставил стакан на рояль, сделал ногами немислимое коленце – подпрыгнул и ножницами ноги в воздухе скрестил: раздва! – а когда приземлился, колени согнул, присел – и так пошел вприсядку, выбрасывая ноги в сапогах в разные стороны, и уже кого-то носком сапога больно ткнул, и на него выругались и засмеялись.

*– Эх, яблочко,
Да на тарелочке!
Зимний мальчишки гребут,
А не девочки!*

*Эх, яблочко,
Да кругложопое!
Революция висит
Над Европою!*

Гогочут, огрызаются, головами крутят, частушки подхватывают; вот уже все хотят петь, вот уже все горланят впе-

ребой, кто во что горазд, и Мошкин зажимает уши руками и визгливо кричит:

– Ти-ха!.. Люди-то ведь спят!..

– Люди? – Ванька Логинов подшагнул к Мошкину. Протянул руку за ополовиненной бутылью. Без всякого стакана, из горла, мощно хлебнул. – Это они – люди?! Цари говенные?! Сосали из нас века соки, силушку... землю всю – себе под пузы подгрести!.. пировали, танцевали, пока мы на пашнях да в забоях да на мануфактурах – корчились... а ты: лю-у-уди!.. Сказал тоже.

И сразу, без перерыва, оглушительно, хрипло грянул, растягивая в отчаянной улыбке рот без верхнего резца – в драке выбили:

*– Эх, яблочко,
Да семя дулею!
Попляши-ка ты, наш царь,
Да под пулею!*

Переверзев так терзал гармонь, что Лямин испугался: как бы не разорвал надвое.

«Она там спит. Она... уже не спит».

– Ты... – Коснулся плеча Федора. – Поттише, а...

– А што, ушки болять?!

Гармонь орала, взвизгивала и вздыхала, и плакала, как человек.

Всюду – на полу, на полках, на черном льду рояля – окур-

ки, папиросы, самокрутки, стаканы, портянки, снятые от жары гимнастерки, и даже – среди всего этого – впопыхах сдернутый с шеи вместе с рубахой чей-то, на грубом веревочном гайтане, почернелый нательный крест.

* * *

Утро застало людей врасплох. Кто стоял на карауле – так и стоял, выпить не пригласили; а кто смог, тот мошкинской водки в себя залил вдоволь и оглупел – оказалось, у Мошкина еще, для разврата и забавы, длинногорлая четверть была запрятана в комиссарском сундуке; и вспомнил он о ней вовремя, когда все частушки переголосили, все щиплющие за душу романсы были перепеты, и пальцы Мошкина уже впотьмах шарили по клавишам, как сонные, умирающие, сбрызнутые хлоркой тараканы. Ах ты черт, братва, у меня ж еще есть! Тащи! Тащи!

И притащил; и час настал, заснули. Кто на кроватях, кто на полу вповалку.

Лямин проснулся прежде всех. Поглядел на часы на стене. Мерно, неумолимо ходил маятник. «Вот маятник; и жизнь – маята; и отмеривают часы время этой бестолковой маяты. Мы часы изобрели, чтобы время на куски порезать. Порезанное на мелкие кусочки, оно вроде бы не так страшно. А целиком – время, времище – у-у-у-у...» Провел ладонью ото лба к подбородку. Колючий, оброс. Надо лезвие у Авдеева

попросить, пусть в галантерею кого отрядит: свое отдал Бабичу побриться, тот – Логинову, так и потерялось.

«Кто-то жадный заховал. Воришка. Но не полезешь же всех обыскивать».

Лежал. Думал. Солдаты храпели. Люди. Он все чаще, все горше называл их всех – люди. Отчего-то ком в горле вставал, когда он представлял, как в город войдут белые, и как окружат Дом, и как будут по всем им палить. Пуля! Она такая маленькая. Человек сам себе придумал смерть, мало ему той, могучей и черной, что маячит у всех впереди. Он выдумал свою, гораздо более мучительную; и кичится этим, и гордится, и называет это как попало: войной, революцией, праведным судом. А то и без суда расстреливает; какие на войне суды? На войне – враги, два врага, и кто кого.

«Закон природы. Звери тоже дерутся. Но они – за самку, за бабу. А мы за кого?»

В первый раз ярко вспыхнуло перед сморщенным в раздумье лбом: да, а мы-то за кого помираем? За самих себя? Но когда еще наше счастье. За революцию? А что она даст, что принесет? Никто не знает. И не узнает. За Ленина? Чтобы он там, в Кремле, крепко на обитом кожей стуле – сидел? Удержался?

«А Антанта накинется... а генералы белые эти...»

Часы медно, раскатисто били. Лямин насчитал девять ударов. Ужаснулся. «Мой ли караул?» Ничего не помнил. Лохмотья, обрывки частушек всплывали и качались на во-

де прозрачного утра. «Бога нет, царя не надо... губернатора уьем...»

Топали сапоги в коридоре. Дверь открылась.

– Тэ-э-э-эк, – куриным клеткотом протянул Авдеев, – тэ-э-э-эк... Мошкин! Сука!

Мошкин, спавший на полу, вздернул кудлатую голову, уставил кругленькое бабье личико на коменданта.

– Я!

Встал на удивленье быстро. Как и не валялся. И даже не качался.

В караульной дико, густо пахло перегаром и табаком.

«Податей платить не надо... на войну мы – не пойдём!...»

– Окно – открыть!

– Так нельзя же, товарищ комен...

– У них – нельзя! У нас – можно!

Мошкин, осторожно переступая через спящих, высоко поднимая ноги – так и спал в сапогах, – подобрался к окну и долго возился с защелками и шпингалетами. Распахнул. Ворвались воздух, ветер.

Лямин тоже поднялся. Опускал закатанные рукава гимнастерки.

Авдеев, тоже удивительно, не ругался, не сердился. Обозрел спящих солдат. Покачал головой.

– Ну надо же иногда, товарищ комендант... Ведь сами видите, какая служба... Не служба, а тоска поганая.

Улыбка прочертила тяжелое лицо Авдеева.

– Ну ладно. Но чтобы сегодня ни-ни!

Наткнулся глазами на Михаила. Глаза коменданта лениво ощупали Лямина: а, этот?.. этот исполнительный. Четкий. Но не тронь его грубой рукой. Окрысится. Или затаится, что совсем плохо. С такими, как этот Лямин, надо так же четко. приказ – выполнение, хорошо сделал – наградить. А плохо этот солдат не делал еще никогда. Он воевал, а у тех, кто воевал, за пазухой вместо сердца – кремень.

– Солдат Лямин! Сегодня в караул на крыльцо. Двери охраняй!

– Слушаюсь, товарищ комендант.

– А я – к ним пойду!

Ухмылка стала пошлой, чересчур довольной; морда кота, играющего с мышью, подумал Лямин и потер пяткой сапога о носок, счищая присохшую лепеху грязи.

...Аликс стояла у зеркала, когда вошел комендант Авдеев.

Он был противен ей. Впрочем, как и они все, тюремщики. Но Авдеев был противен особенно. Ей хотелось плюнуть в его харю, и она тут же одергивала себя, упрекала в бесчувствии и злобе, тут же, на ходу, где заставало ее это чувство – в коридоре, в столовой, во дворе на скудной бледной прогулке, – пыталась молиться, и молитва выходила плохо, застревала не только в горле – во лбу, в сердце. Больная, длинная заноза. И мучит, и колет, и вытащить нельзя. И теперь уже никто не вытасчит.

Ее Ники провел бессонную ночь из-за криков пьяной солдатни; он лежал на кровати, уже одетый. Лег в штанах и гимнастерке поверх нищего, в дырах, покрывала. Это не было покрывало инженера Ипатьева; комендант откуда-то распорядился доставить его, вместе с огромными, величиной с добрую шубу, подушками, набитыми смрадным старым пером. Может быть, из блошиной пролетарской ночлежки?

Аликс дернула углом рта, и ее лицо стало напоминать ожившую белую венецианскую маску.

Она хотела поздороваться с этим человеком – и не поздоровалась. Не могла.

Стала совсем плохой христианкой, никудышной.

И Авдеев, тоже не здороваясь, торжествуя сказал:

– Ну как почивали... граждане?

Через шматок молчания добавил:

– Арестованные.

– Благодарю. Ужасно, – подал голос с кровати царь.

И царь тоже не мог говорить с Авдеевым. Мало того, что он их унизил по приезду – он продолжает унижать их и сейчас, и всякий день! Царь напряженно думал, чем и как он, по рождению и по праву царь, мог бы унижить это красное отребье, бывшего слесаря. Думал, кривил рот, по лбу его текли и извивались мучительные морщины, но так ничего и не придумывалось ему этакое, чтобы Авдееву вдруг стало больно. А потом он так же, как Аликс, останавливал себя и упрекал: «Как можно! Господь создал всех, всех людей одинаковыми!

А эти люди, они просто заблудились! Их просто наштапиговали дикими идеями... И они запутались. Им можно, им надо помочь!»

Но как, чем помочь? И будет ли эта помощь принята? Царь не знал. Говорить с ними о Христе? Они Его отвергают. Для них Бога нет уже давно; с самого начала революции, о которой, как они говорят, они всю жизнь мечтали, они приближали ее, не шли, а просто бежали к ней, брели, спотыкаясь о смерти и ссылки, ползли. И вот доползли. И она обернулась братоубийственной войной. «Авдеев, ты мой брат! И я бы обнял тебя, и расцеловал на Пасху, троекратно. А ты... морду воротишь. Ты – меня – презираешь! Ты ненавидишь меня, я же вижу; но я, я должен тебя – любить! Как мне это сделать? Как мне сделать это искренне, по-настоящему, как, так это делал, умел Христос?»

– В чем ужас-то?

Николай скинул с кровати обмотанные портянками ноги на пол. Долго натягивал сапоги. Потом медленно, очень медленно поднял лицо к коменданту. Лицо царя, прежде такое приветливое и сияющее, все неистово заросло бородой и напоминало грозовую тучу.

– Ваши, – он подчеркнул это, – ваши солдаты всю ночь буянили. Что они праздновали? Свадьбу? Крестины?

Авдеев уже нагло смеялся.

– Скажите, а вы, гражданин полковник, никогда, в армейскую свою бытность, не веселились, не гуляли, не... кутили?

Или, вы хотите сказать, вы никогда в жизни не пили водки? С мужчинами такое бывает.

Царица так и стояла около зеркала. Вертела в руках пузырек с духами «Shypre» Франсуа Коти. Потом поставила духи на зеркальную тумбу, они зелено, алмазно отразились в зеркале; схватила кисти своего шелкового капота и стала нервно щипать их.

– Почему же нет. Я веселился. Но в тех местах, где рядом за стеной не спали.

– Ничего! Ведь перетерпели же? – весело крикнул Авдеев.

Авдеев понимал, что издевается над царями. И это доставляло ему ни с чем не сравнимую радость, даже счастье. Слесарь, он теперь распоряжался царской семьей! Вот как вознесла его жизнь! Когда она его еще так вознесет? Да, видимо, уже никогда. Значит, надо ловить этот миг удачи. И пусть неудачник трясется в рыданиях. А он – празднует! Это он сегодня празднует! Да каждый день с царями – как день рождения; какое удовольствие их топтать, видеть, как глаза бывшей императрицы темнеют от ярости!

Царица бросила вертеть шелковые кисти халата. Сказала себе: спокойно, спокойно, Аликс, успокойся. Это всего лишь человек; и ты всего лишь человек. Вас жизнь поставила на одну доску. Но ведь и одесную Христа висел разбойник, и ошую висел; и один Его поносил и проклинал, а другой смиренно, нежно попросил его: «Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем!» – и Он ответил живой

и любящей душе: «Ныне же будешь со Мною в Раю».

...А этот, этот – неужели с тобою в Раю будет?..

...Боже, не надо мне такого соседства... и Рая тогда – не надо...

Сделала шаг к Авдееву. Очень важный, трудный шаг.

– Я бы хотела вас попросить.

– Ну?

Авдеев опять улыбался. Он не мог скрыть радости и довольства.

– Я бы хотела, чтобы рояль... которую, не знаю по чьему приказу, сегодня ночью перенесли в караульную комнату... была возвращена на прежнее место. В гостиную. Моя дочь Мария... она любит играть на рояли. И другие дети тоже. Пожалуйста! Прошу вас!

Авдеев прищурился. Все, кто побывал в Москве, рассказывали, что их вождь, Ленин, любит прищуриваться; и теперь Авдеев пытался копировать Ленина. И все время щурился тоже. Как будто плохо видел.

– Идите вы к черту!

Аликс изо всех сил попыталась не отшатнуться.

– Господь вам судья.

Она тяжело, через силу подняла тяжелую, растолстевшую руку и медленно, скорбно перекрестила коменданта. Комендант плюнул царице под ноги.

– Тьфу! Не надо мне этих ваших крестов! Вы и так уже всю землю, все небо закрестили! Крестили, крестили, и что

толку? Везде огонь полыхает! Война! И мы победим.

– Сим победиши... – прошептала старуха и уже себя самое осенила крестным знамением.

Авдеев победно поглядел на царя, на царицу и вышел. Нарочно громко хлопнул дверью. Аликс растерянно обернулась к мужу.

– Зачем тогда он приходил?

– Ты так и не поняла? – Николай смотрел на жену печально, еще немного – и глаза его превратятся в круглые, полные невылитых слез, огромные, мрачно-светлые очи византийской иконы. – Поглумиться.

– Но ведь глум... – Она искала русское слово. – Глум... насмешка... издевательство... это... ему же будет хуже, его же жалко! Ему все это вернется... рикошетом... вернется все, все...

Жена уже плакала. Муж подошел к ней, взял ее за плечи и стал покрывать ее влажное, дряблое, нежное, востроносое лицо мелкими, быстрыми поцелуями.

– Да, да. Конечно. Вернется. И его жалко. Ты права. За него надо молиться. Ты будешь за него молиться? Будешь?

– Буду... Буду...

Она всхлипывала, как набедокурившая девочка. Крепко обняла его за шею. Шея царя стала слабая, он весь был истощен, слаб и хил, еле стоял на ногах. Ему всего пятьдесят лет. Всего пятьдесят.

А ей? А ей – три тысячи.

– Мальчик мой, – сказала царица и сильно, больно при-
тиснула его голову к своему седому виску, к зарезанной ще-
ке.

* * *

...Мошкин подждал Авдеева в комендантской комнате. Авдеев вошел со слишком радостным, неудержимо радостным лицом. С таким лицом после исповеди по улице мальчишки бегут; в краже конфект покаются, им простят, и счастье – голубем за пазухой.

– Ночное дежурство прошло спокойно, товарищ...

– Да уж понял! – Авдеев уселся за комендантский стол. Озирал его. Чувствовал себя начальником. И правда – чуточку – царем. – Приберите как следует караульную!

– Приберем.

– Пустые бутылки повыкиньте! Подметите. Баб заставьте. Пашку вашу, и эту, ихнюю девицу, Нюту.

– Я сам прослежу.

– Да, и вот еще... Слушай-ка, что расскажу! Забавное дельце. Царьки наши просили меня услужить им.

– У... служить?.. это как...

– А так! Приказы задумали раздавать! Старуха прицепилась ко мне, как банный лист: перенеси да перенеси рояль опять в гостиную. Дочь ее, видите ли, будет на той рояли

брякать! Чай, перебьется дочь!

– Перебьется, товарищ...

– И что ты думаешь, я ей ответил?

Мошкин сделал личико масленое, хитрющее.

– Думаю, вы ответили как надо, товарищ комендант!

И у Авдеева лицо замаслилось.

– Точнехонько думаешь. Я их – к черту послал!

У Мошкина округлились глаза.

– Как? Царей – к черту? У-ха-ха-ха!

Выходка Авдеева ему понравилась; до того понравилась, что он утирал глаза выгибом руки и махал рукой, и тряс головой, и опять заливался, заходился смехом:

– О-ха-ха-ха, ха, ха! К черту! К черту, это же надо, а!

– Красноармеец Мошкин, молчать!

Мошкин замолк.

– Раскочегарился. Где охранник Украинцев?

– На посту.

– Где именно?

– У забора. Уличная охрана.

– Позови его ко мне. Дело к нему есть.

– Может, Лямина позвать? Вот Лямин – дельный. Он вам любое дело провернет.

Авдеев задумался.

– Нет. Лямина не надо. Украинцев попроворней.

...У стрелка Украинцева были кривые, торчащие в разные стороны передние зубы; так выросли, никто не виноват,

и такие уродливые, хоть в пьяной драке выбивай; а у его за-
кадычного дружка, стрелка Арсения Васильева, из далекого
города Хабаровска родом, были ужасно выпученные глаза.
Глаза выкатывались из орбит, как два крутых яйца, лезли,
выпирали, и Васильев ими чудовищно, ради шутки, вращал,
пугая и веселя солдат. Все его так и звали – Лупоглазый.

А Украинцева – Кривоzubый. Два сапога пара.

– Ты вот что, Криво... Украинцев! – Авдеев долго смот-
рел на бойца, потом крепко ударил его по плечу, и Украин-
цев слегка подогнул ноги. – Поручение к тебе. Интересного
свойства. Получится, не получится у тебя – не знаю. Но впе-
ред! А вдруг!

– Что за поручение, товарищ комендант?

Из-за кривых зубов Украинцев шепелявил, и получалось
что-то вроде: «сто за полусение, товарись коменнант».

– Деликатное же, говорю. Подкатись шаром к царю. По-
дружись с ним!

– Подружиться?.. ого...

– Да, да-да! Мне это надо. Не только мне, как ты понима-
ешь. Войди в доверие. Кури с ним. Болтай. Сиди напротив.
Я тебя для начала поставлю у его дверей на караул.

– Опять?.. но вы же отменили караул на втором этаже, то-
варищ Авдеев!

– Отменил, да. А теперь опять назначаю.

– И о чем... мне с царем-то... балясничать?

– Расспрашивай его. О разных разностях. О том, кто ему

пишет. По ком он тоскует. О чем думает. Да, да, не пялься на меня так изумленно!

– Но я простой мужик...

– Да. Ты простой. И это хорошо. Пусть царь говорит с простым мужиком. Тебе больше доверия. И запоминай, хорошенько запоминай, что он тебе будет вещать.

– Зачем? Вы скажите, а то я чо-то не понял ничо.

– Нам надо, – Авдеев щелкнул пальцами, – улики добыть. Ну, что они бежать замышляют.

– А, понял.

– А твой дружок? Лупоглазый?

– Что – Лупоглазый?

– Он сообразительный?

Украинцев захохотал. Оборвал хохот.

– Вот уж не знаю.

– Ну твой дружок же!

– Да вроде не блаженный.

– Отлично. И его подключим. Ты ему все тихонько только разъясни. Если охрана узнает о нашей разведке – до царя дойдет все очень быстро.

Авдеев откинулся на спинку стула. Мошкин сидел у окна. Напевал тихо и злобно:

– Пускай в гостиной... муж простодушный... жену гуляющую... под утро ждет... Любовник знает: она, послушная... смеясь и пла-а-ача!.. к нему придет...

Встрял в разговор:

– Вот это верно. Это верно. Надо с царя начать. Его прощупать.

– Товарищ Мошкин! Одобряете?

– Еще как!

Мошкин уже где-то успел раздобыть на опохмел. Щеки розовели, носик задорно торчал. Кукольная его мордочка чуть опухла после попойки, но глаза – уже глотнул – блестящие, зыркали остро, внимательно.

– А может, ты за это дело возьмешься?

– Не-ет, товарищ Авдеев. Лучше я – при вас!

– При мне, ну да, кто-то же должен быть при мне... да...

Тоскливо, косо посмотрел.

– У тебя глоточка нет?

Оглянулся на Украинцева.

– Солдат Украинцев! Все поняли?

– Все! Разрешите идти?

– Идите!

Кривоzubый шарахнулся за порог.

– Есть глоточек, товарищ комендант. Извольте.

Мошкин вытащил из кармана косушку, как ящерицу за хвост.

Авдеев хлебнул и закрыл глаза.

* * *

Они сидели втроем на лавке во дворе: царь, Боткин и сол-

дат Арсений Васильев, Лупоглазый. Вечерело. Странная, хитрая, как дикий зверь в тайге, уральская весна. То оттаает на пригорках, и почки готовы вот-вот взорваться, то опять завернут холода, и на робко вылезшую в оврагах и на проталинах травку посыплет из туч отчаянный, вражеский снег.

Арсений курил «козью ногу». Свернул ее из старой газеты. Царь близоруко вглядывался. Он делал на газету собачью, охотничью стойку.

– Простите, товарищ Арсений, а у вас осталась газета?

– Какая? – Зенки Васильева еще более округлились, выкатились почти наружу, на щеки.

– Ну, вот эта. – Царь указал на самокрутку. – Ведь вы же кусок только оторвали. А газета, газета-то сама осталась?

– На черта вам газета, гражданин Романов? – Лупоглазый искуривал «козью ногу» быстро, будто жадно обцеловывал или голодно отгрызал от нее клочки, как белка от шишки. – Ить она рваная.

– Да вот... почитать хочу. Новости.

Лупоглазый кинул окурочек на землю и придавил сапогом.

– Так ить она старая.

– Старая? А за какое число?

– За невесть какое уже. Прошло, проехало.

Николай судорожно вздохнул.

– Понимаете, мне здесь не носят газет. А в Тобольске – носили. Мальчишка с почты всякий раз приносил.

– Ну, здесь у нас ить такого парнишки нету.

Табачно, горячо выдохнул. Боткин в тоске чертил на дворовой земле неясный рисунок весенней, с надутыми почками, веткой.

Лупоглазый сощурился и задал, как ему казалось, лукавый и умный вопрос:

– Газеты-то газетами, и черта ли в них. А вот письма-то вы ить получаете. А хто вам пишет послания? Цари, короли? Жалко им вас?

Николай опустил голову и смотрел, как доктор возит веткой по свежей мокрой земле, перемешанной с песком и мелкими камнями.

– Жалко.

– А вы – жалитесь, да?

– Нет. Не жалуясь. Господь заповедал нам принимать все смиренно, что выпадает на долю.

– Доля, доля! – Лупоглазый потер переносье. – Доля, судьба! А вот хто мне разъяснит, что ж такое судьба! И слово-то какое, не вразумлю никак. Суть-ба. Суть нашей жисти, или как? И почему говорят: у каждого своя судьба? Жисть, это я понимаю. Живешь-живешь и в одночасье помрешь. Живет кошка, живет и собака. И волк в тайге – живет. А – судьба? С какого боку к ней подобраться?

Боткин бросил рисовать на земле скорбный иероглиф. Царь и доктор переглянулись.

– Не объяснишь... – беззвучно шепнули губы Боткина.

– Судьба, – раздумчиво повторил царь. И, словно его гна-

ли, подгоняли плетьюми, батогами, будто бежал он, уворачиваясь от ударов, бежал и задыхался, и чуть не плакал, и пытался крикнуть, докричаться, достучаться, быстро заговорил:

– Да ведь судьба – это и есть Бог! Понимаете, Бог! Если человек живет без Бога, отверг Бога, он и свою судьбу не слепит, он будет жить хуже зверя... животной жизнью будет жить, поймите вы это! А верующий в Бога – принимает свою судьбу с радостью... со счастьем!.. и не просит иной судьбы взамен. Потому что он живет свою жизнь, свою собственную, ту, которую ему и дал Господь... сужденную ему!.. а не чью-то другую, вот поэтому и – своя судьба! И судьба – это не просто покорность судьбе: будь что будет, и все, а я сложу руки и ничего, ничего ни с собой, ни с судьбой делать не буду... Бог всем нам дает – выбор! Выбор, понимаете, выбор! И вы думаете, выбор сделать просто?! Ой, ой, как непросто! Бывает, человек и ошибается! И тогда он... кается... плачет... просит прощенья у Бога: Господи, я вступил не на тот путь! На неверный путь! Просит: вразуми, Господи, помоги! И я... исправлюсь... я сделаю единственный, верный выбор! Выберу свою судьбу! А – не побегу вместе с толпами кого-то убить, растерзать... надругаться... разрушить, сжечь! Вот вы все разрушили! И хотите наново построить! А вы знаете, какую вы себе судьбу выбрали?! Знаете, чью – судьбу?!

Уже кричал. Встал с лавки. Боткин впервые видел царя

таким: одновременно и смиренным, и яростным. Он думал, так среди людей быть не может.

– Судьба – это выбор! – Всегда спокойные, светлые, глаза Николая горели темным огнем. – Выбрал – так иди! Неверно выбрал путь – пошел по нему, побежал – оступился – ногу сломал – душу сломал! Хочешь вернуться – а не можешь! Затягивает в пропасть! Это – дьявол! Это и есть дьявол. Он всегда рядом с Богом. Дьявол с Богом борются... всегда, всегда... и люди друг с другом борются, думая наивно, что это они друг с другом воюют!.. а на самом деле... на самом...

Боткин тоже встал. Обхватил рукой царя чуть выше кисти, за обшлаг кителя.

– Ваше величество, успокойтесь. Не стоят они ваших...

Царь не слушал, не слышал. Навис над сидящим, широко расставившим ноги в нечищенных сапогах Лупоглазым. Кричал торопливо, хрипло, быть может, вовсе и не для лупоглазого Васильева, а для себя.

– На самом деле – в одних дьявол, в других Бог. Бог с дьяволом это воюет! А не люди! Людская каша, война, революция... все оттого, что одни идут за дьяволом, а другие от себя Бога не отпускают! Не хотят отпустить! Ведь главное, главное в нашей жизни – это не мы сами, не наши дети, внуки, наши заводы, наши поместья... даже не наша земля, хотя она – Родина, и ее леса, пашни, поля, реки, моря... это все тоже мы... это все тоже наше тело, наша душа... но даже не она – главное! Наиглавнейшее – Бог! Только Он! Он... все

знает... всех ведет... и кто Ему изменяет – тех он наказывает... жестоко, страшно... все их дела может однажды стереть в порошок... именно дела, даже не жизни... можно жить – и быть ходячим мертвецом! Если Бога в тебе, с тобой нет. Вот так и ваши все дела... могут умереть... однажды... все, все!.. вся ваша революция!.. все, за что вы боролись... за что проливаете свою кровь и кровь братьев... ваших...

Уже дрожал, мелко тряся. Из окон, любопытствуя, выглядывали солдаты вечернего караула. Боткин торопливо снял с себя плащ и накинул царю на жесткие, деревянно торчащие плечи.

– Бог, вот что основа жизни! И смерти тоже. Бог! Один! А вы Бога...

Закашлялся. И кашлял долго, с надрывом. Боткин хлопал его по спине. Лупоглазый сидел как каменный.

Царь выдохнул и утер рот кулаком.

– Убили...

Шатнулся.

– Уничтожили...

Доктор подхватил царя под мышки.

– Идемте домой, ваше величество. Идемте. Бросьте. Не стоят они все ваших... проповедей...

Повел царя, как больного. Осторожно, медленно. Лупоглазый смотрел им вслед. Просунул пальцы под фуражку и почесал затылок. Чесал долго. Потом опустил руку и выругался.

Одиноко, сам себе, сказал, зло глядя на опустелую лавку:

– Ить как он завернул. Нас, дескать, Бог покарает. За революцию. За то, что мы, мать-перемать, мы, народ!.. лучшей жисти захотели. Именно жисти, а не муки мученической. А он про Бога: Бог, Бо-о-о-ог! Ну, и кого Он покарал? Вас же и покарал. За все хорошее! Вот так оно!

...В окне стоял Лямин. Он не столько слышал, сколько видел все. Человеческие фигурки двигались, махали руками, кричали, кутались в плащи, курили, топтали сапогами окурки, выпускали изо ртов то, что выпускать безнаказанно нельзя.

Царь шел и трясся.

– Вы не заболели, ваше величество? У вас не лихорадка? Надо беречься инфлюэнцы... здесь Урал, весенние холода...

Внезапно царь обнял Боткина и крепко, крепко прижался к нему. Искал утешения. Это объятие было чистым, честным и беззащитным.

– Простите меня, Евгений Сергеич. Я сорвался. Я не должен был себе этого позволять... с ними. Ведь это мой народ! Мои солдаты! Мои – люди! И они меня предали. Они – отреклись от меня! Это не я отрекся: они отреклись!

– Успокойтесь, успокойтесь...

– Меня утешает то... – Зуб на зуб у царя не попадал. – Что Спаситель... тоже был предан... однако я ни в коем случае, никогда!.. не сравню себя с Ним... Но каждый из нас, слышите, каждый!.. должен держать в сердце Его путь... и по воз-

возможности – повторить его... повторить...

– Сейчас горячего чаю, ах, жаль, лимона нет, варенья нет...

– И если мы сейчас Его Голгофский путь повторим – я не удивлюсь, слышите меня, нисколько, нисколько...

– Слышу, ваше величество, как не слышать...

Вел по лестнице так же медленно, и царь с трудом одолевал ступени. Поднялись. Боткин провел царя в спальню. Царица метнулась к нему.

– Что такое! Досиделись во дворе! На нем же лица нет, доктор! Что случилось?!

– Ничего особенного, ваше величество. Просто на дворе похолодало. Вечерний ветерок. А простуда застарелая. Ведь его величество кашляет уже давно? Давно. Но я, как мог, тот кашель снял. А нынче... да там разговор такой вышел, с охраной...

– С охраной?!

Николай уже лег. Аликс сама стаскивала с него сапоги, разматывала портянки.

– С охранником одним. Знаете, такой лупоглазый. Он стал расспрашивать его величество о письмах, что он получает... и сам пишет. А его величество свел разговор на Бога... на божественное... и – переволновался, это бывает...

Крупные слезы старухи быстро капали на царские сапоги и скатывались на плахи пола.

– Аликс, душка, – тихо и медленно, стуча зубами, сказал

царь. – Я умею молчать. Я долго молчал. Я раньше беседовал и правда с принцами, с королями. А теперь я беседую с Кривоzubым... с Лупоглазым. Это мои собеседники. На колченогой лавке... в тюремном дворе...

– Молчи! Выпей, прошу тебя!

Она держала его голову. Николай привстал с подушки и выглотал из мензурки самодельную микстуру доктора Боткина.

– И я беседую с ними... про замазанные окна, про то, почем на рынке сушеный чебак... про то, где покупают хороший табак... и почему рояль перенесли в караульную... и про то, почему мне не приносят свежих газет... и про наши жуткие, дырявые одеяла... и про мышей, они часто приходят в кухню и даже пробираются к нам в спальни... и про клопов, как удачно перед отъездом инженера из Дома их поморили... Аликс! Я – про клопов! Аликс...

– Сейчас он успокоится, – синими губами вытиснул выдох Боткин.

Царица наваливала на мужа одеяла, какие под руку подвернулись; распахнула шкап и вытащила свою шубу; и тоже на него бросила. Он переставал стучать зубами. Взгляд прояснялся. Брови подвинулись вверх, размахнулись седыми дугами под высоким, в морщинах, лбом.

– Ты похож на святителя Николая, – прошептала царица.

И погладила царя по руке, лежавшей поверх серого мышиного, вытертого одеяла.

– Ну, я пойду? – так же, шепотом, спросил Боткин.

– Идите, Евгений Сергеич. И... вот что...

Старуха поманила доктора пальцем. Он нагнулся низко, они едва не столкнулись лбами.

– Держите язык за зубами.

– О да. Да.

...Поздно вечером, уже около полуночи, царь и царица, сидя за столом в осиротевшей, без рояля, гостиной, открыли огромную, ветхую, в коричневом кожаном переплете с потертым тиснением, пахнущую воском и ладаном книгу. Ветхий и Новый Заветы под одним переплетом; книгу принесла ей девица Демидова, а ей дала эта их красная повариха, Прасковья Бочарова, а Бочаровой дал неизвестно кто – и неизвестно на сколько: попользоваться, на время, или навсегда подарили – они не знали. Книгу Аликс страстно желала оставить себе: их родовую, еще Александра Второго, Библию у них украли в Тобольске, когда они отправились в церковь на литургию к архиепископу Гермогену. Пришли, теплые, светлые, расслабленные. Аликс хватилась книги в тот же вечер. И кому из солдат она понадобилась? Они все теперь красные, и Бог для них – мусор: вымести из избы, забыть навек.

Библия, книга книг, вот она. Старуха нежно гладила телячий древний переплет.

– Давай раскрою наугад, – прошептала Николаю.

Раскрыла. По обыкновению, закрыла глаза и слепо повела

указательным пальцем по странице.

– Ну что там?

– Седьмая строчка сверху.

– Читай... ты...

Николай набрал в грудь воздуха и радостно прочитал:

– Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся.

Счастье высветилось и на оплывшем лице царицы. Оно даже стало моложе, глаже. И глаза – глубже и яснее. Будто умылась колодезной водой.

– Читай все блаженства, – тихо сказала она.

– А около гостиной сейчас ведь караула нет?

– Нет. – Александра Федоровна задумалась. – Хотя все может быть. Мы это узнаем, если высунемся в дверь.

Царь, с тем же счастливым выражением лица, будто он сидел на лужайке в царскосельском парке, беспечно махнул рукой.

– Они только этого и ждут.

– А ты правда прощаешь им? Ну, как Христос нам заповедал?

Он тяжело вздохнул.

– Правда.

– Начинай.

– Блажени нищии духом, яко тех... есть Царствие Небесное. Блажени плачущии, яко тии утешатся...

Они попеременно читали главные слова их жизни, и жиз-

ни каждого, и даже жизнью этих, кто, крича и глумясь, или молча, ненавидяще, их сторожил.

И ведь все они, вся охрана дома инженера Ипатьева, все солдаты, до единого, все родились и воспитались в простых русских семьях: крестьянских, рабочих, разночинских, мастеровых, – и в тех семьях, в тех домах на стене в красном углу всегда висела икона, и Святая Библия лежала на видном месте, на самой верхней полке этажерки или дряхлого, сто раз чиненного комода, и ее читали в двенадцатые праздники, и по ней молились, и у изголовья покойника читали псалмы и кафизмы из Псалтыри, и по воскресеньям – с детьми – по пыльной или зимней хрусткой дороге – да непременно – в храм, и как же случилось так, что все эти дети, все эти люди, выросшие с Богом и под Богом, резво, кроваво втоптали Его в грязь?

Кто перегнул палку времени? И – сломал ее?

– Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.

– Блажени... блажени...

...Мария лежала в постели, свернувшись в комочек, и думала: вот так белки сворачиваются в дупле, когда зима. Она не слышала, как читают Евангелие родители в гостинной. Она знала. Она часто видела то, чего нельзя увидеть глазами; и ее это не пугало, она понимала это в себе, лелеяла, никому не говорила. Даже мама. А что мама? Она может огорчиться. А сейчас мама нельзя огорчать. Сейчас им всем тяжело, а мама – тяжелей всех.

Били часы. Мария загибала пальцы. Двенадцать. Полночь. Слеза вытекла из угла глаза быстро, стыдливо, стремительно, и затекла в складку ужасной, громадной и плоской, как плаха, чужой вонючей подушки.

* * *

– Ники, что ты делаешь?

Сама увидела. Прижала ко рту пальцы.

– Ах, солнце. Прости. Я тебе помешала.

Эта его улыбка. Она обвивает ему щеки и бороду солнечным плющом, диким виноградом. Ливадия умерла. Дворцы разрушены. В Крыму побоище. В Крыму без суда и следствия на улицах расстреливают людей; ни в чем не повинных, просто – прохожих, беременных женщин, стариков и старух, малых детей. Египетская язва, вот проклятье твое! Глад и мор, вот огонь твой!

Кто писал ей про Крым? Элла? Брат Ники Мишель? Она уже забыла. Все спуталось в голове, ее расколола надвое мигрень, и мигрень стала жизнью и войной. Прекратите боль. Оборвите ее. Не жалеите меня. Пожалуйста. Пожалуйста.

– Пожалуйста...

Царица вцепилась в спинку стула.

– Ты меня просишь о чем-то, милая? Я готов.

Отодвинул дневник, встал перед нею.

Он так вставал перед ней всегда; чтобы глазами до ее глаз

дотянуться. Они одного роста, и очень удобно глаза в глаза глядеть.

Жена помотала головой. Щеки затряслись.

– Нет-нет. Ничего. Я просто хочу... тебя... поцеловать.

Взяла его голову руками и прижалась ко лбу сухими, горячими губами. Царь изловил ее летящую руку и напечатлел ответный поцелуй, щекоча ее запястье бородой.

– Солнышко, мне пятьдесят.

– Спасибо Господу за это.

– Мне самому странно. И... страшно.

– Чего тебе страшно, любимый?

– Из нашей фамилии мало кто доживал до пятидесяти.

– Пустое. Ты – дожил. И еще поживешь.

Он опять сел. Тяжело впечатал зад в обитый черной тонкой кожей стул. Кожа была пришпилена к спинке и к сиденью позолоченными медными кнопками.

– А зачем я живу? – Он глядел на нее беспомощно, безумно, взгляд поплыл, ресницы задергались. – Во имя чего я живу?

Аликс смотрела на царя, как на дикого зверя из дальних стран через прутья клетки смотрят дети.

– То есть как это – во имя чего? Наши дочери... и наш Бэби...

– Дети не отвергли меня. Меня растоптала и выкинула за борт моя страна. Моя родина! Вот Пасха прошла. Христа распяли, и Он опять воскрес. В который раз. А я, жenuшка,

я – не воскресну. И ты... не воскреснешь.

Сидя на стуле, обхватил ее за располневшую талию. Спрятал лицо у нее на животе.

– Ники, помни: мучения – это тоже царский венец.

– Терновый...

– Мы все на земле повторяем Христа. Кто-то больше. Кто-то меньше. Но все равно – все. Все равно – Его. Все равно...

Он все сильнее вжимал лицо в ее родной, выносивший пятерых его детей, мягкий, обвислый живот.

– Земля в огне... города горят... камни падают, дома растаскивают по кирпичам, по костям... на костях – пляшут... Брат убивает брата.

– Каин и Авель, Ники! Каин и Авель!

– Да что мне Библия, – оторвал лицо от ее живота. Опять глядел снизу вверх, жалобным щенком, найденышем. – Я ее – наизусть знаю! Но ведь этот народ, этот!.. мне был дан Богом. И Бог венчал меня на царство – над моим народом, этим, вот этим... – Указал на дверь. – А что, если... я – сам попустил этот ужас? Если я – преступник? Аликс, я, я – преступник! Это мое преступление!

Опять спрятал лицо в складках ее юбки. Плечи ходили ходуном.

Жена нежно, судорожно все гладила, и гладила, и гладила его голову.

Не знала, что сказать. Ей казалось – он оглох и теперь никогда не услышит ее.

– Не кори себя. Ты ни в чем не виноват. Слышишь! Ни в чем!

Ее слова бились об него, как крупные градины – о глухую черную землю.

– Я стоял у родовой постели этого ужаса! Этой революции! Я глядел, как она рождается! Более того! Я стоял у постели ее... зачатия... и я все, все видел... и я – не остановил...

– Как бы ты остановил? – Голос Александры отвердел. – Отправил бы беременную Россию к доктору Боткину? На abrasio?

– Абразио... Абразио... К черту все...

– Ники! Молись!

Быстро прижала ладонь к его губам. Ладонь горячая и сухая. Будто бы у нее вечно температура.

Целовал ее ладони, бессчетно, виновато, благодарно.

– Прости. Прости! Я сам не свой. Я гибну. Задыхаюсь.

– Скоро приедут девочки. И ты задышишь.

– Солнце! Как мне искупить свой грех?!

Встал со стула. Аликс попятилась. Царь упал перед ней на колени. Стал истово, размашисто креститься – как пьяный мужик там, в Дивеево, когда они обретали мощи преподобного Серафима. Мужик, наливший zenки до края, бухался о плиты храма лбом, раскидывал руки и все орал: «Господи! Всех взял! Господи! Варварушку! Митюшку! Еремушку! Возлюбленную Василису! Всех! Серафимушка! Верни! Вер-

ни! Верни, все отдам!» Мужика отгаскивали за плечи, за ноги от аналая, от грозного священника в парчовой ризе, а он все бил руками и ногами и все орал: «Верни! Верни!»

Крестился и рыдал. В голос, не стесняясь. Поднимал к ней, как к образу, искаженное лицо. Она ужаснулась: так он стал на себя не похож. А вот на того пьяного, слепого от отчаяния, бородатого, лысого мужика – похож. Он все крестился и крестился, быстро, будто сейчас умрет и перекреститься опоздает, задыхаясь, торопясь, словно опаздывая куда-то туда, где решается всеобщая, страшная судьба.

– Господи! Чем искуплю мой грех?! Что мне сделать для Тебя, Господи?! Как угадаю Твою волю? Да будет воля Твоя, а не моя, Господи! Все возьми... всех возьми... всех нас возьми, я готов!.. но верни – Россию... Россию!

– Ники... я прошу тебя...

Она тоже упала на колени рядом с ним и беспомощно хватала его горячими руками, похожими на двух тяжелых и толстых старых змей, то за голову, за виски и уши, то за шею, то гладила по мятой пропотевшей гимнастерке, то расстегивала пуговицу ворота, чтобы ему было вольготней дышать, то обнимала, обматывала вокруг него свои длинные, сильные, когда-то красивые и тонкие, а теперь толстые, с висячей, выше локтей, дряблой кожей, руки и прижимала к себе, к своей груди так сильно, что из нее разом вылетал весь воздух, и ей казалось – она упала в реку и тонет, – и она бормотала, шептала ему в ухо, и его седая спутанная прядь щекотала ей

губы:

– Помоги нам искупить вину, если она есть на нас!.. Помоги нам угадать Твою волю!.. Господи, любимый, золотой, не дай нам сгинуть вместе с Россией... пусть мы погибнем, а она будет жить... будет, будет!.. Господи, если суждено страдать – будем страдать! Господи... не покинь...

Они оба плыли в широкой и бурной, холодной реке, и оба хватались друг за друга, и оба были друг для друга широкими, пробковыми, крашенными красной и белой краской – половина белая, половина красная, – отчаянными спасательными кругами.

* * *

...Медленно тянулись дни. В темпе Adagio. Или даже Largo. Или даже еще медленнее – Grave. Царь сидел за столом и медленно, трудно писал дневник. Две-три фразы – а сгибался над ними целый час. И ведь такие простые слова. Он не любил много слов. Он ведь военный: шагом марш! И маршируют солдаты, а полковник стоит и глядит на них. На тех, кто России служит.

А сейчас солдаты – кому служат? Красным владыкам?

Он раздумывал, и жизнь становилась медленным, тоскливым размышлением. А мысли вдруг превращались в медленных змей. Подползали к ногам, взбирались на колени, ползли по груди, обвивали шею. Душили. Он рвал их с шеи сла-

быми руками. Руки и вправду ослабели – здесь, в Ипатьевском доме, не было ни турника, ни гантелей; мышцы одрябли, и единственное, чем он спасал тело, это английская гимнастика по утрам. Вставал с постели, если была в Доме вода, принимал холодную ванну, крепко растирался – ложился на пол – и начинал отжиманья. От двадцати доходил до ста. Поднимался с пола весь мокрый и красный, как после бани. Аликс стаскивала с него исподнее и обтирала его сухим полотенцем.

«Аликс, я агнец», – однажды сказал он ей. Хотел смешливо, а вышло серьезно. «А я тогда овечка?» – тоже серьезно спросила жена. «Не бойся, нас не зарежут и не сварят. А что, если Лупоглазый прав, и мы действительно заговорщики? Я же написал Элле, что мы ждем любых хороших новостей из Петрограда. Любых! Это слово можно истолковать по-разному». Аликс напяливала на него свежую сорочку, целовала в затылок. «Я была бы только рада, если бы нас освободили. Я верю, есть офицеры... может, они ходят рядом... Но как представлю Мурманск, и английские корабли, и льды Баренцева моря, и...» – «Что?» – «Я не хочу уезжать из России. Не могу. Все главное происходит здесь».

Набросив полотенце ему на шею, она садилась в спальне в кресло-качалку. Очень любила она это кресло; мерно и тихо качаясь, она впадала в странное и блаженное равнодушие. Ей, в кресле-качалке, было все равно. Она скользила зрачками по замазанным известью окнам и все считала

их – раз, два, три, четыре окна. Четыре стороны света. Четыре времени года. Четыре стороны креста. А православный крест восьмиконечный. Почему восемь? Перевернутая восьмерка – бесконечность. Восемь – это, наверное, семь таинств, и восьмое, самое главное – Воскресение.

Четыре окна, белая мгла. Серый, мутный туман. Светлый мрак. Живая смерть. Смерть при жизни. Она такая спокойная, мутная, белесая. Она – малярная кисть, обмакнутая в ведро с известкой. Кресло, качайся, я еще раз толкну тебя ногами. Под ногами – деревянные салазочки, кресло качается, а ноги на салазочках стоят; очень удобно. Не затекают. Браво тому, кто придумал качалку. Чувствуешь себя в колыбели. Она забыла себя ребенком. Какой она была ребенок? Бойкий? Угрюмый? Послушный? Строптивый? Не помнит. Качалка, туман, и грезы. Она мечтает. Сегодня – опять мечтает. О чем? Голова обвязана мокрым платком. Голова опять болит, но это теперь все равно. Она будет болеть всегда. Надо полюбить свое страдание, тогда оно перестанет быть страданием.

Раз, два, три, четыре окна. Четыре сестры, ее дочери. И пятый – ее мальчик. Он болен гемофилией, она подарила ему его смерть. Все врачи, и Боткин тоже, говорят, что мальчик не доживет и до шестнадцати. Мигрень, она прокалывает насквозь виски. Болит поясница, стреляет в коленные чашечки, и черный осьминог из глубины всплывает и поднимается к голове, и плотно обхватывает ее щупальцами, и присасы-

вається, і тягне з неї життя. Качалка качається, і вона разом з нею, і вона вже не боїться сидячого на голові осьминога. А він взагалі не чорний, а червоний. Він насосався її крові. Скільки крові вона промокивала стерильною ватою, коли доглядала за раними! Скільки крові – в операційній – підтирали мокрою ганчіркою! А потім знову ретельно мила, терла руки під мармурним лікарняним рукавичником і вставляла до операційного столу. І знову текла ця кров. Река крові. Вона властно навчила себе не втрачати почуттів при вигляді крові. Сердито говорила собі: це просто кров, і в тебе вона тече – точно така ж!

Качаючись, вона бере в руки книгу. Життя преподобного святого нашого Серафима Саровського. Він все сказав їй, Серафимушка. Все передсказав. Так що хвилюватися? Назначене да збудеться. Качайся і читай вслух, у тебе це добре виходить. Ти навіть писати вмієш по-церковнослов'янськи; і, хоч тобі це важко, неможливо, але ти робиш це. Ти завжди любила робити неможливе; робити те, що вище твоїх сил. А тепер сили розтанули. Вони зникли в білому тумані.

Білий туман. Ось і закінчилася свята книга. А тепер що ми будемо робити, мігрень? Мігрень, ми будемо вишивати. А ось і п'яльці. Вона на Пасху почала нове рукоділля. Синя пташка, і в хвості – золоті очі, і на голові корона з пер'я; це павлин, він сидить, вцепившись в гілку, а на гілці розцвітає велика червона троянда. Вишиває гладдю, і щільно,

густо ложатся стежки. Нить превращается в царскую птицу. Нет, ну его, вышиванье! Глаза утомляются и болят. Мигрень, давай-ка лучше порисуем! Не вставая с качалки, взять с тумбочки маленький рисунок. Он не закончен. На нем – голова ее сына.

Их сторожат. Но все равно не устерегут. Она грезит о побеге. Ей чудятся кони, храпящие у крыльца; и возок; и офицеры в плащах. Охрана выбегает и палит им вслед, да поздно – кони скачут во весь опор. Они думают, они такие простые! Наивные! О нет, они очень умные, мудрые. Они все тщательно продумают. Никто и ничего и никогда не узнает. Соберутся, сложат вещи. Перекрестятся, когда услышат свист за окном.

Они говорят, она слышала: царь на царя не похож, вроде как наш, мужик, солдат бородатый, даром что полковник. И рожа такая простецкая. И бороду не подстригает, торчит она лохмами. А про нее так шепчут: злая, жестокая! Не злая и не жестокая, а строгая. Дисциплины нет. Все развалили. И армию тоже. Разве это солдаты? Это же не солдаты. Это слюнтяи. Курят, пьют, сквернословят. Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?

Качалась. Напевала. Прижимала руку ко лбу и стонала от боли.

Наша слава... русская держава... вот где наша... слава... Друг, Григорий, приди, спаси, защити. Покачай меня в колыбели. Утешь сына моего. Избави от боли, страданий, пе-

чали и воздыханий, но даруй жизнь бесконечную. Это моя молитва? Я сама сочинила? Нет, это вечная молитва. Так все русские люди молятся. И я русская. Я всегда была русской. Я русская, и я люблю Россию, и вот она горит, горит ее север, горит юг, пылает запад, в огне восток, а я все равно люблю ее. Все равно.

* * *

– Родная, знаешь, мне кажется, времени нет.

– Как нет?

– Ну вот так. И часто кажется – нет и пространства.

– Милый, а где же тогда живем все мы? И почему – живем?

Николай отодвинул тетрадь. Промокать написанное не стал: чернила сами сохли.

– Ты заметила, что мы живем только сейчас? Сию минуту?

– Да... это так. Но у нас есть прошлое!

– Аликс, прошлого для нас нет. Ты можешь его потрогать? Пощупать, вдохнуть?

Царица стояла за спиной мужа и нежно перебирала его волосы на затылке.

Кровь отлила от ее лица. Она это поняла по кружению головы. Хорошо, что на столе нет зеркала и он не видит ее бледности.

Она вспомнила, как жгла в камине свое прошлое.

Все. Без остатка. Там, во дворце. Дворецкий разжег камин на славу. Дрова полыхали. В кресле – изваянием – сидела Лили Ден и безмолвно смотрела, как царица бросает в огонь свои давние дни.

Девичьи дневники. Дорогие записки. Засохшие цветы. Милые безделушки. Вот эту тряпичную розу Ники ей подарил, когда вернулся из Японии. А вот бумажный голубок, его сделала малютка Оличка и подарила ей на Благовещение.

И письма, письма. Все ее письма и все письма к ней. Письма Распутина. Письма кайзера Вильгельма. Письма Эллы и покойного ее мужа Сергея. Письма Иоанна Кронштадтского.

Лили, я не могу! Что не можете, ваше величество? Я не могу сжечь нашу с Ники переписку. У меня – рука не поднимается! Так не жгите. Помолитесь и спрячьте. Значит, так хочет Бог. Да, так хочет Бог.

– Нет. Не могу.

Горят родные слова. Горят улыбки. Горят любимые руки. Горит записка, где Друг буквами величиною с целый дом, криво и косо и смешно, царапает: «Я ПОМОЛИЛСА ЗА МАЛЕНЬКОГО ОН БУДИТ НЫНЧЕ ЗДОРОВ. ГОСПОДИ ИСУСЕ ХРИСТЕ ЗАЩИТИ НЫ».

– Вот и я не могу. И – никто не может. Так где же прошлое?

Руки остановили ласку.

– Не знаю... У Бога. На небесах.

– Все на небесах. Мертвые – в могилах, а все равно на небесах. Время – на небесах. Сожженные усадьбы, убитые люди – на небесах. Земля сама летит в небесах. С определенной скоростью, ее давно вычислили.

– Но у нас есть будущее.

Голос царя звучал совсем слабо:

– Нет. У нас нет будущего.

– Но почему?

Сказала – одним дыханием.

– Потому что с нами наш миг. Вот он. Вот! Поймал! А он уже улетел. И налетел новый миг. Другой. Все другое. И кто скажет: прошлое ли он или уже будущее?

Она едва дышала, а он, сидя к ней спиной, затылком, напротив, говорил ясно, твердо и четко, по-военному, как команду, почти жестко.

– Нет...

– Да. Есть только счастье сиюминутное. Мгновенное. В этом мгновении – весь мир. И все его вчера, и все его завтра.

– Постой... как это у Блейка... «о вечность, ты в одном мгновенье?..»

Он услышал уже плачущий, задыхающийся голос. Резко обернулся на стуле. Поцеловал одну руку жены, другую.

– Прости, я обидел тебя.

– Нет. Как можешь так думать.

– Я знаю.

Встал. Крепко обнялись. От Аликс пахло вербеной.

– Но почему же... – Она проглотила слюну. Прижалась щекой к его бородатой щеке. – Почему Бог попускает зло?

Царь обнимал ее и молчал. Вздрагивал всем телом. Как подранок.

– Видишь, что творится... Россию убивают... И Бог – смотрит на все это с небес? И не остановит? Не прекратит разом? Ведь мы так Ему молились... я – молилась...

– Это вечная теодицея. – Царь вздохнул так глубоко, что она испугалась – выдержат ли напор воздуха легкие. – Бог – это не благостный ангелочек. Ты помнишь, как Он плетью выгнал торжников из храма?

– И красную нечисть выгонит? Да? Да?

Царица отпрянула от мужа, искала глазами глаза.

Он погладил ее лоб, виски, поцеловал один глаз, второй. Ее ресницы защекотали ему губы.

– На все Его воля. Может быть, красные посланы нам в испытание. Чтобы проверить нас на прочность... на стойкость. Чтобы мы вкусили беду, тогда ярче и полнее будет радость.

– Да! Да!

– Солнце, а ты могла бы их простить?

Теперь она задрожала в его руках. Он все еще не выпускал ее.

Будто выпустит – и все: утонет, как корабль.

За нее – держался.

Аликс нахмурилась.

– Так я... стараюсь... каждый день... молиться за них и прощать...

Он опять припал к ней. Щеки соприкасались. Сонные артерии быстро, судорожно толкали кровь, бились на слипшихся шеях.

– Это хорошо. Хорошо. Прощай их. Молись за них. Всякая молитва дойдет до Господа. Самая наималейшая. А мы цари.

– Мы уже не цари.

– Но надо всех прощать.

– Заранее?

– Всегда.

– Я стараюсь.

– Но вот я воевал. И я – убивал. И вел солдат на смерть. Во имя Бога я это делал? Или не во имя?

– Боже. О чем ты. Ты защищал свою страну.

– Значит, Бог – не агнец, а воин. Он – с мечом.

– Война – тоже дело Божие, если она праведна.

– А революция? Что, если революция выметет из дома весь мусор?

– Но я не мусор. И дети наши не мусор. И жизни людей не мусор.

– Жизнь сплетников, что отравили жизнь нам, вот мусор. Или ты не помнишь, как тебя в Петрограде травили? Да по всей России.

Говорили, тесно обнявшись, торопливо, слишком тихо,

боясь не успеть, а вдруг не выскажут всего, тайного, больно-го, самого главного.

– Помню. Значит, принять Бога сурового?

– Да. Принять. Он один. И мы Его дети.

– Но Он казнит своих детей.

– Саранча тоже летела на поля и пастбища Египта. И дети Риццы погибли, и она бегала возле них, распятых, с пучком розог и отгоняла ворон, чтобы не выклевали детям глаза. И Давид побил несметно филистимлян ослиною челюстью. И Юдифь отрубила голову Олоферну. Бог проливал океаны крови. Но Бог и милостив.

Вот теперь, держа за плечи, отодвинул ее от себя. Глаза его, с прозрачными серыми радужками, горели ясно и чисто, будто он только что умылся.

– Вот. А ты говоришь – Бог суров.

– А ты говоришь – теодицея.

Оба тихо, прозрачно засмеялись.

Хотя не до смеха было.

Каждый смеялся, утешая другого.

...а еще царь не раз говорил жене, то ли внушая ей это, то ли утешая, то ли сам себе зубы заговаривая: вот они все, как заведенные, твердят – пролетарии, пролетарии, но милая, в России же никогда не было никаких пролетариев, русский пролетарий – это чушь, химера, это просто морок, его нет и не было, его выдумали, да кто угодно: эти бородачи

Маркс и Энгельс, этот полоумный Плеханов, и этот... этот... как его... с волосами как осьминожки щупальца... а!.. Троцкий... а у нас – в России – всяк, кто трудится в городе, всякий заводской рабочий, всякий халдей в ресторации, всякая горничная у барыньки, любой садовник, любой банщик, любой последний подметала в номерах и дворник с метлой и лопатой – все связаны с деревней, у всех корни – на селе! В земле – корни! Россия – земельная страна, крестьянская земля! И никогда никакому крикливому Ленину не побороть русского мужика! Не свернуть ему шею, ведь он силен как бык! Весь этот большевизм как вспыхнул, так и погаснет. При чем только в городах. Деревню ему никогда не одолеть. Милая, говоришь, все наши красные солдаты, вся наша охрана – из деревень? Что ж, может, ты и права. Но это те, кто из нее удрал, кто соблазнился безнаказанными грабежами и убийствами. А тех, кто остался на земле, все равно больше. Все равно! Я – верю в это!

...и царица слушала, кивала, качала головой, вроде бы одобряя, и вроде бы не соглашаясь, – и, умолкнув, он не знал, что еще говорить; он брал ее руку, рука пахла вербеной, кислой капустой и зубным порошком, и целовал уже натруженные, как у пролетарки, с набрякшими узлами вен, любимые руки.

...Царица сидела с ногами на кровати, прикрыв ступни этим позорным, драненьким одеялишком, и читала письмо

из Тобольска. По мере чтения тонкие, изогнутые ее брови сдвигались к переносице. Царь лежал рядом, вытянув ноги, в исподнем, поверх одеяла.

– Ты не мерзнешь, Sunny?

Александра ласково ущипнула мужа за кончик носа.

– Нет. От кого письмо?

– От Лизы Эрсберг.

– О чем пишет?

– О наших лекарствах.

Глаза царя сверкнули, словно две блесны под толщей быстрой холодной воды.

Лекарства, этим словом они смешно, по-детски обозначили их фамильные сокровища.

Так и называли драгоценности – и в письмах, и в разговоре; во всех красных домах стены имеют огромные красные уши.

– И что?

– Просит, чтобы мы оставили все флаконы и пилюли в Тобольске. Пишет, что... в дороге лечебные свойства могут выветриться, ибо не все пузырьки... плотно заткнуты пробками... И вот еще... – Прочитала, слегка запинаясь. – «Наследнику Цесаревичу в любой момент могут понадобиться снадобья и притирания, а также компрессы и чистый спирт. И, если поднимется жар, без пилюль мы не обойдемся. Настоятельно прошу Вас, Ваше Величество, подумать и не лишать нас Своим Августейшим приказом столь необходимых для

Наследника и Великих Княжон лекарств». А? Как тебе?

Царь вытянул по одеялу ноги, закинул за голову руки и сладко, долго потянулся.

– Ники! Как можно быть таким безмятежным!

– Мятежными пусть будут мятежники. Дай письмо.

Царь взял листок и бегал по нему глазами.

– Ну и почерк. Или это я стал слабо видеть?

– Лиза всегда так пишет.

– Ну давай подумаем. Может, и правда оставить?

У царицы руки крупно колыхались. Она выдернула бумагу из рук царя.

– Лиза очень просит. Умоляет. Они все просят. Они говорят – здесь, на Урале, очень страшно. Лекарства могут разбить... испортить. Вылить из флаконов и налить, представь, яду! Лиза пишет: там у вас обыски...

Тыкала в хрустящий в руках царя листок узким властным пальцем.

– Я все равно прикажу ей! Все равно!

Отбросила одеяло. Гневно вскочила с постели.

– А ты лежишь!

Царь смеялся.

– Душка, ты такой мне нравишься. Нравилась всегда. Ты такая хорошенькая, когда сердиться.

Дряблый подбородок царицы чуть колыхнулся. Она отвернула голову, и царь видел, как ее маленькое ухо обкручивает, обвивает кольцом седая прядь.

– Делай что хочешь! С лекарствами – это твое решение. Я полагаюсь на тебя.

Царица неожиданно быстро встала перед кроватью на колени и покрыла мелкими, детскими поцелуями голову и грудь царя.

– Спасибо, спасибо тебе! Но я, нет, не буду решать, не я. Мы – оба! Как ты скажешь, так и будет!

Царь, продолжая улыбаться, махнул рукой:

– Выполнять приказ!

Когда жена села за стол и окунула перо в чернильницу, улыбка быстро сошла с его лица.

Она писала, ее плечи шевелились; шевелились, сходились и расходились лопатки под серым шерстяным лифом, а он все смотрел ей в спину, смотрел тяжело и долго, бесконечно смотрел. Потом глаза устали и сами закрылись. Задремал.

А она все сидела за столом и быстро писала, и так же быстро шептала:

– Свобода – это право и счастье всех... я верю, что красные комиссары все поймут и отпустят нас на свободу... мы верные граждане своей страны... мы служили ей верой и правдой... грядет счастье... надо верить в лучшее... лекарства всегда нужны, они всегда должны быть под рукой... мы должны быть всегда здоровы, это угодно Господу... только у-па-куй-те флаконы как можно тщательнее... чтобы не пролилось ни капли... особенно те лекарства, которые необходимы Наследнику... и только не пе-ре-пу-тай-те...

За светлым, обласканным солнцем стеклом не видно ничего, кроме белого зимнего тумана. Метель весной. Известковая слепая метель. Снег залепил окна, и они вроде как в Тобольске, и еще будет, только будет Христово Рождество.

* * *

Глубокой ночью, в Тобольске, в Губернаторском доме, творилось священнодействие.

А впрочем, обычнейшее из обычных дел. Женщины шили.

Со стороны – распахни дверь – сидят девицы и шьют; но отчего посреди ночи?

А им так захотелось. Днем – выспались.

Лифы и буфы. Струятся складки. То холстина, то шерсть, то шелк. А вот даже бархат подвертывается под руку. Сам так и лезет. Пришей меня! Ушей меня!

А если охрана спросит, что они тут делают?

Можно быстро ответить: мы хотим завтра одеться во все новое, нам старое надоело.

А можно и так: Насте приснился сон, а он вещий, ведь нынче ночь с четверга на пятницу; и сон такой – мы все сидим и шьем. И иголки мелькают в руках. Узкие стальные молнии во мгле.

Какая мгла, мы же вон – на столе – свечку жжем!

При свечке не увидишь, куда иглу втыкаешь. Эй, охрана,

зажечь свет!

Настинька, что ты так кричишь-то, тебе привиделась охрана. Они ночью не придут. Спокойно шей. Я спокойно шью, Таточка. Я только не знаю, куда... вот этот...

А, этот! Вот сюда. Давай покажу. Вот так.

А эту... пуговицу куда, Тата?

Оличка, думаю, вот сюда. И к ней... рядом... давай еще одну...

...Ночь только кажется огромной. На самом деле она идет, и проходит уже. И они должны успеть. Они нынешней ночью, впятером – Лиза, нянька Саша, Тата, Настя и Ольга – зашивают все драгоценности, что они увезли с собой из Петрограда, в одежды великих княжон. Работы много. Бриллианты, сапфиры, изумруды, жемчуга, золото надо спрятать искусно. Зашить под подкладки, вшить в лифы платьев, с испода корсетов, обшить камни холстиной, превратив их в пуговицы.

Татьяна дирижирует этой ночью. Ночь – оркестр. Драгоценности – ноты. Иглы и нитки – скрипки и виолончели. И поют, вздрагивают голоса, исполняя не разученные никогда еще партии.

– Прячь лучше... все видно...

– Вот прекрасный лиф. Давай... вот тебе подкладка... я сама вырезала...

– Бери скорей. Самый крупный...

Огромный алмаз перетек из дрожащих пальцев Насти в пальцы Лизы Эрсберг.

- А сами не можете, ваше высочество?... ладно, давайте...
- Ольга. Держи. Не вырони. У тебя руки трясутся.
- Это у тебя трясутся.
- Не возводи на меня поклеп.
- Ваше высочество, дайте я.
- Сашинька!.. какая ты добрая.
- Тут была пуговица зеленая... зеленая...
- Изумруд, что ли?.. это папа подарил мама на свадьбу...
- Тихо... не ори...
- Я разве ору...

Руки ходят, передают друг другу камни, золото высверкивает яркой спинкой ящерицы. Камни холодные. Их только что достали со дна реки. Со дна жизни. Их обтекала кровь, как вода. Их целовали и ранили себе губы; да все в прошлом. Девочки, а что с нами было в прошлом? Кто помнит? Не будем про прошлое. Давай лучше про будущее. Давай! Нас скоро освободят. Вот там, куда мы едем. Мама сказала, есть отряд верных офицеров. Тата, Таточка, а ты правда веришь в это? Тише!

Нянечка Саша Теглева сидит спиной к закрытой двери. У Сашиньки очень широкая спина, и стул к двери стоит слишком близко. Когда, не дай бог, будут открывать – наткнутся на стул и открыть не смогут. Пока будут возиться со стулом – девочки все успеют спрятать. А если они захотят обыскать?

- Душки, а может, запереться?

– Настя, Родионов же позавчера сбил с двери защелку.

– А ты делай так: бери холщовый лиф... вот... камни насыпай в лиф платья... вот так... накладывай холст... и зашивай, вот так, аккуратненько, по бокам... а потом прошей насквозь, простегай, ну, как одеяло...

– Вот так?..

– Да, миленькая, именно так... У тебя – получается...

Ветер, ветер. Стекла в окне трясутся. Души трясутся. Но души – не зайцы. И не должны подгибать лапки. Их мама смелая. Смелыми станут и они. Да уже стали. Цесаревич в своей комнатке спит спокойно, не стонет. Сегодня воистину спокойная ночь.

– Лиза!.. кажется, кто-то идет. Шаги по коридору!

– Никого... тебе почудилось...

Опять шьют, кладут, обкладывают тканью, зашивают по краю, по краю.

Игла прокалывает жизнь по краю. По краю.

И они, вместе с иглой, тоже идут по краю. Они – живые иглы, и тянут за собой черную нить времени.

В окно, как в зеркало, глядится густо-синее небо с крупными сибирскими звездами. Небо само себе нравится. Анастасия вскидывает от шитья лицо. Лицо цвета гимназического мела, нехорошо девочке не спать в это время; если не спишь в два часа ночи, то и не заснешь до утра, говорит мама. Но сегодня такая ночь. Она слишком важная. Мама все правильно решила. Это драгоценности короны. Ско-

ро комиссаров прогонят чудесные белогвардейские отряды, великие герои, и снова наступит... на земле мир, в человецех... благоволение...

– Таточка...

– Что?.. тише...

– А мама мне говорила: нельзя причинять боль никакому живому существу...

– Все верно говорила... шей...

– Она говорила: каждый цветок, каждый лепесток чувствует боль... и ужас... и даже камень – чувствует... А наши камни – чувствуют?.. вот они сейчас боятся, когда мы их куда-то в темноту зашиваем... какими-то нитками... они тоже живые?..

– Шей, Стася... все – живое...

– А животные?..

– Что – животные?..

– Мы же их убиваем... а потом едим... им тоже больно...

– Всем больно...

– Оличка, я знаю, что всем... а что, если вообще не жрать мяса?..

– Настя, не жрать, а есть... Настя, мы же не едим мяса в пост...

– Пост – проходит... и потом опять мясо...

– Лиза! Подай мне вон то ожерелье.

– Длинное, жемчужное?..

– Да... в нем мама была... на коронации...

– Господи, какое красивое... я будто век не видала все наши драгоценности...

– Ну вот смотри и запоминай...

– Да я и так все помню...

– Мама сказала: кто из вас первой будет выходить замуж – той и подарю жемчуга...

– Ой, тогда я – первой выйду!..

– Настинька, сначала жениха заведи...

– Саша! Знаешь что... встань... и пересядь на кровать, к нам... а сама ножку стула – в ручку двери воткни... так надежнее...

Нянька Теглева встала и послушно исполнила приказание Ольги. Перевернула стул и продела ножку в дверную медную, сто лет не чищенную ручку. Осторожно присела на край кровати.

– Нас всех здесь много... я кровать продавлю...

– Не бойся, ты худенькая. Не продавишь...

Рубины. Вот этот – из Индии. Подарок английского короля Георга. Колье королевы Виктории. Ожерелье покойной матери Аликс, их бабушки, ее они никогда не знали – она в могиле. Жемчуга, розовые, черные и желтые, добытые со дна моря, это папа привез из Японии, какая сказочная страна, там женщины ходят в деревянных сандалиях и в кимоно, и на спине завязывают огромный бант, они похожи на тропических бабочек. А вот и золотая бабочка, в размах крыльев вставлены крупные и мелкие сапфиры. Тоже Ин-

дия? А может, Африка? Драгоценности – это весь мир. Вот он, весь на ладони, перед тобой.

И рассыпался, раскидывался вдоль по кровати, по смятым простыням, весь мир – алмазы и рубины, кровь и слезы, крики задышающихся от газов на военных полях, ругань в окопах, тусклый стальной блеск угрюмых танков, медленно падающий с бруствера офицер, солдаты в грязи, стонущие, тянущие руки: больно! больно! спасите! – жемчуга стерильных бинтов, опалы марли, хрустальные друзья госпитальной ваты, парча хирургических повязок, и вот, страшно улыбаясь, обливаясь кровью рубинов и яшмы, турмалинов и кораллов, встает убитый человек, а у него вместо сердца – сквозь решетки, прутья ребер – горит свеча, и огонь падает на непролазную грязь, на столбовую дорогу, на стонущих, умирающих от взрыва, на расстрелянных во рву, – драгоценности, вот они – свечи уже в руках людей, их толпа, они идут, да не в храм, а мимо храма, за сумасшедшим человеком, он так страшно, надсадно кричит, вопит: за мной! я дам вам счастье! а всех, кто не с нами, мы убьем! – и лысая его голова сверкает гладко обточенным кабошоном, и внутри чудовищной лысины, в ее бледном опале, перекачивается огонь красной крови, ее несгораемый, неопалимый сгусток, – умирают цари, над ними поют панихиду, над ними кадят и зажигают все, все до одной, золотые свечи на гигантском небесном паникадиле, оно размахнулось во все звездное весеннее небо, это Пасхальное золото, и это кровью красят яйца, это

не яйца искусника Фаберже – это то алое яйцо, что несчастная Магдалина поднесла на голой ладони надменному императору Тиберию, поцеловала и поднесла, – это все было еще до раскола, еще до Иоанна Грозного, еще до князя Олега и княгини Ольги, еще до скорбных бездонных икон Византии, – так давно, что люди уже забыли, как это было, а драгоценности вот не забыли, они, живые, весь путь прошли, катились по земле и катились, и переступали босыми, в мозолях, ногами каторжан, и звенели серебряными кандалами, они только прикидывались чугунными, и захлестывали живые шеи золотыми веревками, они лишь притворялись пеньковыми, – а сокровища все вспыхивали, все обжигали руки и сердца, блестели во ртах вместо зубов, торчали подо лбами вместо глаз, бросали их в печь вместо черного древнего угля, лопатой гребли из отхожего места, грузили на телеги и выкидывали на свалку вместе с робронами на китовом усе и фламандскими кружевами, – а они все катились и катились из тьмы, из смерти, из прошлого, и над ними впору было стоять со свечой и петь ирмосы и тропари, а Кто там стоит, улыбаясь во все драгоценное лицо?.. воскресе из мертвых, смертию смерть поправ... и сущим во гробех... живот даровав...

Да это не человек! Это свеча! Это... драгоценность...

– Таточка, у тебя нитка порвалась... и запуталась... давай я вставлю.

– Спасибо, душка, я сама.

– Тебе плохо видно. Свеча догорает.

– Свеча?.. да, и правда...

– Правда?..

– Все, все правда...

– И то, что мы сидим и шьем здесь, тоже правда?

– Да.

– А я думала, мне все это снится...

Катится круглый теплый жемчуг под их еще детские пальцы. Нет прощения. И нет возврата.

Под столом перевернулся и во сне взлаял их любимый спаниель.

– А рубин похож на кровь, Тата.

– Настя, что ты болтаешь.

– Девочки... девочки... умоляю, тише...

* * *

...Татьяна грела руки под мышками. Анастасия насмешливо бросила:

– Хочешь, выну тебе из баула зимнюю муфточку?

– Отстань! – сначала бросила в ответ Татьяна, а потом миролюбиво добавила:

– Не сердись, я нарочно. Спасибо. Не надо.

С парохода на железнодорожный вокзал их опять везли в этих кургузых сибирских возках. Они маленькие, верх хиленький, из тонкой ткани, напоминают не телегу, а пролет-

ку, и трясутся, Боже мой, так трясутся на мостовой! А на дороге в распутицу – так просто валяются на бок. Сколько раз эти клятые возки переворачивались в пути! И ржали лошади, и красноармейцы выгоняли сестер на снег, и дядька Нагорный ласково брал на руки братика – а ну как зашибется, от матери нагоняй, лечоба бесконечная, и слез не оберешься.

– Таточка, ты держись за меня и не упадешь.

– С чего ты взяла, что я упаду!

И опять эта светлая, как молодой месяц, улыбка.

– Стасинька, прости, если я тебе грублю. Я в этом Тобольске как-то огрубела.

Анастасия взяла холодные руки сестры в свои. Возок колыхался студнем, кони тащились в гору.

– Ерунда. Не думай ни о чем плохом! Тут и так все плохое вокруг.

Она фыркнула.

– А Сибирь? Разве она плохая? Она же очень красивая. Я рада, что я увидела ее. А то смотришь на карте: Сибирь, Сибирь, а там все зеленым закрашено, это могучие леса.

– Таточка, а мы что, теперь уже не цари?

– А ты сама как думаешь, кто мы?

– Таточка, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

– Пианисткой.

– О-о-о! Как это красиво. Но это же надо так много заниматься на рояли!

– Да, надо. Работать надо везде и всегда.

– А я думала, ты хочешь стать врачом. Как наш доктор Боткин.

– Почему это?

– Ну ты же работала сестрой милосердия.

– Но и ты тоже. И все мы. Была война.

– У тебя так хорошо получалось перевязывать раны. И накладывать мази. Раненые говорили: мне не больно, не больно! А сами белые как мел лежат. И чуть не орут. От боли.

– А ты кем хочешь стать, Настюша?

Возок сильно накренило, и они завизжали и вцепились друг в дружку.

– Вот, я говорила, держись за меня! Я хочу стать цирковой артисткой. И ходить по проволоке! И чтобы все, все на меня смотрели!

– Ох, Stasie... – Татьяна подоткнула кудри под фетровую шапочку с темной вуалькой. – Ты так себя любишь?

– Нет, нет! Наплевать на меня! Я вас, вас всех люблю! Нас...

В возке впереди катили матрос Нагорный, цесаревич и Ольга.

Солнце насквозь пробивало лучами Ольгины серо-голубые глаза, и они светились изнутри. Вот они плыли на пароходе – уже свобода. Вот они катят в этих дурацких крохотных, как для кукол, телегах – свобода! А сейчас будет вокзал, и поезд. И свобода нестись по гладким бесконечным рельсам вдаль, все вдаль и вдаль. На неведомый Урал. Они увидят

Урал! И это – свобода. А Дом? Где они будут жить. Что Дом? Дом – тюрьма? Но ведь жизнь – свобода.

... Не ври себе, Ольга, мать там плачет. ... писала ведь: окна покрасили белой краской. ...

... За телегами с царскими детьми ехали возки с челядью.

Бывшая гоф-лектриса, старая Шнейдер, ехала вместе с камер-фрау Тутельберг. Фрейлина Гендрикова – с баронессой Буксгевден и нянькой Теглевой. Служанка, девица Эрсберг, тряслась рядом с Пьером Жильяром и камердинером Гиббсом. Генерал-адъютант Татищев – с лакеем Труппом и поваром Харитоновым, и у их ног, на пучке сена, примостился поваренок Ленька Седнев. Поваренок Седнев, пока ехали, то и дело поднимал голову и спрашивал, глядя в скорбные лица седоков:

– А когда в поезд сядем, я с его высочеством смогу поиграть?

Татищев наклонялся к мальчишке, опускал ему картуз на нос:

– Ну конечно! Кто ж спорит! Еще досыта наиграетесь!

... Время то пласталось, прислоняясь, притираясь к земле, то поднималось высоко и расслаивалось, превращаясь в облака, в лужи, в крыши, в людской говор, во всю невероятную даль пространства.

– Все, выгружайся! Прибыли! Вокзал!

Они вышли из возков – кто выскочил, кто выплыл, кто вывалился, кто ковылял, ошупывая ногами твердую землю.

Графиня Гендрикова прислонила руку ко лбу и тихо охнула:

– Боже, как кружится голова!

– Это от дороги, – Пьер Жильяр ловко подхватил фрейлину под локоть, – сейчас пройдет... дышите глубже...

...Поезд был подан для них одних; больше ни для кого.

Других пассажиров тут не было. Только они, дети царя и их слуги. В вагон второго класса посадили восемь человек; в вагон четвертого класса – девять. Поваренок Седнев видел – матрос несет цесаревича в другой вагон. Чуть не заплакал, кусал губы.

– Мы в разных вагонах! В разных!

– Да хватит ныть, – одернул его повар Харитонов, – лучше держи-ка корзину с провизией, неси!

Ленька тащил тяжелую корзину и был горд этим.

В корзине лежали: круглые широченные, как острова посреди Тобола, ситные, бутылки с жирным коровьим молоком, заткнутые бумагой, бутылка подсолнечного масла, в кастрюльке – вареные яйца, в пакетах из плотной бумаги – соль и сахар, в высокой стеклянной банке – малосольная рыба кунжа, а еще банка с моченой черемшой, а еще – банка с кислой капустой: в последнем селе, где меняли лошадей, черемшу, капусту и кунжу им принесли крестьянки. Низко кланялись, пятились, когда возки стронулись, утирали слезы.

Харитонов тоже нес корзину. В ней спали вареная картошка и соленые помидоры. И еще пачки макарон, и несколько пачек чая, и банка меда – прощальный подарок старой актри-

сы императорских театров Лизаветы Скоробогатовой, жившей напротив Губернаторского дома. Лизавета отдала мед в руки смущенной Анастасии, перекрестила ее, земно поклонилась и ушла.

Что-то ведь происходит навсегда. И никогда больше...

Погрузились в вагоны. Паровоз издал истеричный гудок, и поезд двинулся. Сначала медленно, потом быстрее. Колеса стучали, девочки переглядывались.

– Ольга, ты есть хочешь?

– А ты?

– Мы-то ладно. Алешинька, ты будешь есть?

Алексей лежал на верхней полке. Рядом с ним стоял Клим Нагорный.

– Климушка, а если поезд тряхнет, и братик упадет?

Матрос налег грудью на полку, расставил руки, изобразил из себя медведя.

– Да никогда! Вот как я его защищу!

Смех чистый, будто ледяшки или стекляшки перекатываются.

Цесаревич лежал на спине, и повернул голову; глаза закрыты, и вдруг открыл – можно утонуть в этих радужках. Мать передала ему этот, без дна, взгляд. Будто кто-то огромный внезапно вычерпал землю, и туда хлынула вода, и ее прозрачность безмерна: гляди в нее, и увидишь, как на дне ходят рыбы, как горят золотом камни и скорбно шевелятся водоросли. А вот плывет маленькая желтая рыбка, она сама

прозрачная, просвечена насквозь – все внутри видать: и скелет, и кишки, и пузырь, и дышащие жабры. У рыбки нет чешуи, она вся слеплена из золотого жира, а может, выточена из желтого минерала.

Так он смотрит. Глаза-озера, глаза-моря.

...эти глаза многое знают из того, что люди еще не знают.

...но его рот об этом молчит. И верно. Ничего говорить не надо. Все произойдет само. В свой черед.

В вагон, где ехал Харитонов, послали гонца – Нагорного. Цесаревича сняли с верхней полки и осторожно усадили на нижнюю. Он глядел в окно, подперев голову руками, слишком тонкими в запястьях. Пришел Харитонов, на вощеной бумаге разложили желтые кругляши картошки, красные мячи соленых помидор, а когда открыли банку с черемшой, и острый чесночный дух наполнил вагон, перебив запах мазута и паровозной гари – все от неожиданности громко засмеялись.

– Ой, что это?

– Это черемша! Сибирский дикий лук!

...И ели, и неприлично облизывали пальцы, и сердито-ласково подавала Татьяна Алексею синие салфетки, вынимая из ридикюля.

Вот, ешьте эту простую, великую, народную еду. Такую еду ест ваш народ. А вы...

...а мы тоже ее едим, мы же всегда с нашим народом, я – с моим народом, и я, и я, и я тоже...

* * *

Колыханье поезда то усыпляло, то раздражало. Колеса били спящих по голове. Рельсы в полудреме становились стальными руками, руки тянулись к ним, вот-вот достанут. Нагорный лег рядом с Алексеем, чтобы он не свалился. Ольга села на верхней полке. Полка под ней скрипела. Несмазанный винт, старый болт. Она боялась: поезд затормозит, и она полетит с полки вниз, и расшибется. Люди ребра ломают, когда с вагонных полок падают.

Спустила ноги. Спрыгнула. Вкусно и сильно пахло черемшой. От них ото всех тоже, наверное, пахнет; черемша крепче чеснока. У Ольги на плечах ажурный пуховый платок. Закутала в него шею, плечи. Носом дышала в шерсть, грела нос.

Кинула взгляд на полку напротив. Глаза Анастасии, бессонные, огромные, как у матери, – иконописные, – устали на нее.

– Что не спишь?

– Оля, не сердись, прошу тебя.

– Я не сержусь.

– Я не сержу-у-у-усь, – тихонько пропела Анастасия из Роберта Шумана, – и гнева в се-э-э-эрдце не-е-е-ет...

– Тихо!

– Оля. Я вот хотела спросить. Давно. А можно сейчас спрошу?

– Можно. – Ольга наклонилась к ней ближе.

– Оличка... Вот человек бессмертен, да? – Сама себе ответила: – Да. Душа его бессмертна. И все души предстанут на Страшном суде перед Господом, знаю-знаю-знаю! Но бессмертие это одно, а смерть... – Поежилась. Ольга внимательно слушала, не перебивала. – Смерть это совсем другое.

– Кто же спорит, другое, – тихо, почти бесслышно отозвалась Ольга.

Глаза ее во тьме вагона светились то синим, то серым огнем.

– А что, если... когда мы умираем, мы с собой туда – ну, туда – уносим навсегда – ну да, навсегда! – наш конец? Ну, нашу кончину? Ну вот, например, тебя сбило авто. И ты на всю-всю вечную жизнь остаешься это... переживать. Ну, с этой мукой и остаешься – жить – на всю, всю вечность! Потому что это было твое последнее... земное. Или... например... человек решил покончить с собой. Ну решил и решил, смертный грех, все понятно, но ведь самоубийцы – есть! Мало ли вешаются! В реку с моста прыгают... стреляются! Взвел курок... приготовился... пух!.. последняя боль, ужасная... И... он уже там, понимаешь, ТАМ... а эта ужасная мука все длится, длится... и всю бесконечную загробную жизнь – всю-всю! – он ее ощущает. И с ней всю вечность там – на том свете – так и живет!

– Это хуже ада, – медленно и опять почти беззвучно шепнула Ольга.

– Да. Хуже. А вдруг?

Поезд трясло. Ольга и Анастасия обе вцепились в шпингалеты, на которых висели деревянные жесткие полки.

Невозможная нежность высветила треугольное, исхудалое лицо Ольги.

– Но так могут быть наказаны только великие грешники. Праведники – нет.

Анастасия, обеими руками держась за ржавый шпингалет, зашептала быстро, горячо, негодуя:

– Навсегда! Навсегда! Это ужасное слово. Оно ужасно! Вот мы живем, да. Живем. И у нас тоже есть горести всякие, печали. Вот горе. Папа больше не царь. Мама не царица. Мы в ссылке. Мы арестанты. Нас везут на Урал, нас сторожат, над нами смеются как хотят, а недавно солдат Агафонов пырнул меня штыком, так, в шутку, я понимаю. Но так гадко стало. А когда мы ехали в возках с пристани в Тюмени, я посмотрела назад и увидела – подле пристани, у самой воды, лежат... – Она прижала ладонь к щеке. Другой рукой сжимала шпингалет. – Лежат... Не могу... я сразу отвернулась... лежат...

– Да кто лежит, что?..

Анастасия прижала пальцы к губам. И по пальцам, по губам, по ее кругленькому крепенькому, похожему на шляпку боровика подбородку уже ползли белые, блестящие в ночи елочными хрустальными стекляшками, обильные слезы.

– Трупы...

Тряска состава. Путь. Стальной и прямой. С проселочной дороги, с торгового тракта можно свернуть. С рельсов – никогда.

– Люди... Убитые... Оля, их было так много... так!... Я никогда не видела столько трупов. Они... были навалены друг на друга... ну, как дрова... или даже нет... это было какое-то страшное тесто, месиво... и из него торчали ноги, головы... будто люди уже не люди, а так, страшная куча... стог жуткого сена... Я зажмурилась и всю дорогу до вокзала ехала зажмуренная... А меня все Гендрикова спрашивала, и Лиза тоже: что с тобой да что с тобой!.. А вы с Татой... ничего не заметили... а я взяла себя в руки... и даже улыбалась...

Ольга молчала.

– И, когда мы сели в поезд... вот сюда, в этот вагон... я все думала: сколько же народу по всей России убито, умерло! И где теперь все их души! А умерли-то они безвинно, неповинно ведь! Никто не хотел умирать! А их убивают... без счета... никто уже давно трупы эти не считает... И я подумала: а вдруг человек, которого убивают, этот последний ужас – туда – с собой – навек – уносит! И там с ним – так и живет душа! Так и кричит: не убивайте! Не убивайте!

Ольга молчала.

Шторки по краям вагонного окна, грязные и измусоленные, были перевязаны лентами и походили на придворных дам, брезгливо поднявших подолы при переходе через веш-

нюю лужу. За окном неслись поля, степи, сосновые боры, увалы. С полей еще не весь сошел снег, и земля глядела черными яминами глаз из-под грязного, бывшего зимою чисто-белым, снежного монашьяго плата.

– Но это если... если грешник, сказала ты... И не могут, не могут же все люди в России – и на всей, всей земле – быть грешниками! Значит, и святых расстреливают! И просто – людей, простых людей, никаких не святых, а простых, и даже, может, в Бога не верующих! Вот наш Друг, он был святой. И его – застрелили! Такого прекрасного! Алешиньке теперь без него... так трудно, не вмоготу... он же вылечивал его... он же – молился... А за этих всех – за те трупы – кто молится?! Зачем они там лежат, около пристани? Зачем везде, всюду лежат? А вдруг их души... живые... теперь так и живут там, и мучатся?... и навсегда... и никогда не остановить, не прекратить... этот ужас...

Выпустила из руки шпингалет. Резко, быстро легла на полку и отвернулась лицом к стене.

Промелькнул в окне малюсенький, как скворешня, разъезд. В домике горело окно. Оно горело так красно, кроваво, будто крови налили в банку и банку подсветили с днища ярким прожектором.

Снега перемежались черной оттаявшей землей, земля – последними снегами. Паровоз дымил, гудел, и черный дым заволакивал стекла, а ветер снова протирал их. Гудки разрежали слух и душу на куски, как горький пирог.

Ольга молчала.

* * *

Ночь, и звезды падают с зенита, будто в них стреляют; выстрел, и одна упала, выстрел – вторая.

За революцию так все привыкли к пулям и трупам. «Пуля», «труп», «смерть» – обыкновенные слова, не лучше и не хуже других. В мирное время опасались болтать о смерти всуе; она была тайной за семью замками, свечами панихиды, ночной Псалтырью. А теперь? Убили того, другого. Тюкнули. Шлепнули. Кокнули. Отправили в расход.

Менялся словарь, и менялся так быстро, что уследить за пытками языка было невозможно.

Убивали один язык, нарождался другой.

Но, пока царила смерть, не рождалось ничто.

Ночь, и поезд брякнул барабанами колес и встал. И более не шевелился, не вздрагивал.

Поезд – убили.

– Поезд убили, – во сне пробормотала Анастасия и перевернулась на другой бок.

Ее Ольга расталкивала за плечо:

– Настя, проснись. Стасинька, проснись! Анастаси!

Стонала, во сне же отбрыкивалась.

– Спать... спать хочу...

– Стася, приехали.

Все поднимались с полок, заспанные, суровые, кто с обиженным лицом, кто с ясным, смиренным взглядом. Нагорный одевал цесаревича. Алексей, сонно глядя, как дядька продевает ему руку в рукав, говорил:

– Не надо, к чему эти заботы, я сам.

Татьяна уталкивала дорожные мелочи в баул. Нагорный метнулся:

– Позвольте, я застегну замок. Я сильный.

Цесаревич еще спящими, вялыми пальцами застегивал пуговицы на сером длинном френче.

– Где моя фуражка?

Он носил военную фуражку. Он хотел стать военным, как отец. А потом менял решение: «Я буду строить корабли! Морские, океанские, большие!»

Ночь, и запасной путь.

– Где мы?

– На запасных путях, как будто. Вокзала не видно.

– А может, с другой стороны!

– А сколько сейчас времени, господа?

– Сейчас гляну. Брежет... где брежет...

– Потерялся?

– О нет. Вот. Ого-го! Два часа пополуночи.

– Два часа, это уже сегодня, девятое мая...

– Святитель Николай. Никола Вешний. Помолимся.

Девушки и Алексей перекрестились, а Анастасия начала читать неожиданно ясным, звенящим голосом, на весь вагон:

– Радуйся, избавление от печали; радуйся, подавание благодати. Радуйся, нечаемых зол прогонителю; радуйся, желаемых благих насадителю. Радуйся, скорый утешителю в беде сущих; радуйся, страшный наказателю обидящих... Радуйся, Николае, великий чудотворче! Радуйся, Николае...

За окном дождь. Он идет и идет. Моросит, безысходно и бесконечно. Зачем он возник? Заморосил? Он укрывает тонкой пленкой слез весь этот непонятный Урал, и пути, и селечные узкие рельсы, и пропитанные мазутом, как черным маслом, шпалы, вымачивает деревья и крыши в этом беспредельном небесном рассоле, поливает землю, а земля все впитывает, она все поглотит, и дожди и снега и трупы, и даже времена, и кружева и красные звезды, эти страшные пентаграммы, ей, молчащей на полмира, черной, грозной, бесповоротной, всегда ждущей, никогда не сытой, ей все равно.

– Настя... Тебе удалось уснуть?

Ольга нашла ее руку. Какая тоненькая рука. В запястье не дай Бог переломится, как ножка богемского хрустального бокала.

– Да. Немного. Мне снился сон.

– Почему ты прячешь лицо? Ты плачешь?

Ольга подняла ее опухшее лицо за подбородок, вынула из кармана кружевной швейцарский платок и крепко, царапая жестким кружевом ей щеки, вытерла ей слезы.

– Это ничего. Пройдет.

– Все пройдет, пройдет и это.

– Это царь Соломон? Надпись на кольце?

– Это кольцо раньше носил царь Давид. Его отец.

– Оля, я хочу перечитать Псалтырь.

– Всю?

– Ну не всю сразу, конечно. Хочу пятидесятый псалом... тридцать второй... восемьдесят пятый... и еще девяностый.

– «Живой в помощи Вышняго»? Ты разве наизусть не помнишь?

– Боюсь запнуться.

– Ну, слушай.

Ольга шепотом читала Девяностый псалом. Клим дышал на стекло, крепко протирал его рукавом. Алексей тихо смеялся:

– Клим, дождик-то снаружи.

Фонари на далеком, невидимом перроне разливали неясный свет над рельсами и крышами вагонов. В их вагоне бойцы растопили котел и, кажется, грели кипяток. Пахло дешевым чаем, дух как от заваренного веника.

– Попросить бы у них чайку, – очень тихо, одними губами, боясь помешать чтению псалма, прошептал Алексей на ухо дядьке.

Нагорный плотнее прислонил губы к уху цесаревича.

– Что? А, чаю. Можно. Я сейчас спрошу.

Встал, большой, плечи раздвинули воздух. Попятился, прижав палец ко рту. Потом вразвалку двинулся по вагону,

подошел к горячему котлу, в нем уже булькала, шипела вода. Рядом никого. Нагорный рубанул ночь легким вскриком:

– Эй! Кто-нибудь!

В тишине, за обитой телячьей кожей дверью, послышалось ругательство. Высунулась голова красного солдата, без фуражки.

– Што ищо?! Почивайте! Ищо дозволенья не дадено.

– Какого дозволенья? Чаю-то попить?

– Дурак! На землю сойтить!

– Так и будем тут ночку коротать?

– Видать, так.

– Дай хоть кипятку.

– А заварка-то у вас е?

– Ежели отсыплешь – благодарен буду.

Красноармеец опять выругался.

– Подставляй горсть.

Нагорный подставил. Боец сыпанул ему в ладонь жменью чаю.

– Хорош, будет, спасибо.

– Бог спасет, – сказал красноармеец и спросил: – А кружки е? Стаканы там?

– Есть, братец. Все есть.

– А, это, папироской не угостишь? Баш на баш.

– Не курю. Но добыть могу.

– Добудь, моряк, поплавай по морям.

Нагорный вежливо затворил дверь в служивое купэ и дви-

нулся с горстью чая к сестрам.

...Насыпали чай в дорожные стаканы. Нагорный пошел к котлу – заваривать. За ним побежала Анастасия. Потом двинулись по вагону Татьяна и Ольга – два белых призрака. Чтобы обрадовать мать и отца, надели в дорогу лучшие платья: из белой холстины, обшитые вологодским кружевом. И теперь, в ночи, летели по вагону две белые бабочки: то ли живые, то снятся. А может, ангелы. Да нет, сестры милосердия. Чаю им! Горячего! Когда еще попьют.

...а может, души ожившие; и тоже чаю хотят, только сахару нет. Ни комочка.

А если и есть – весь соленым ночным дождем вымочен.

Заварили. Пили. Нагорный громко прихлебывал. Алексей строго наступал ему на ногу ногой и делал круглые глаза. Потом прыскал в стакан, и тогда уже грозила пальцем Татьяна. Ольга глубоко погружала глаза в законную тьму.

...Пассажиры вагона четвертого класса тоскливо глядели в мокрые окна, как пассажиры вагона второго класса идут, волоча ноги по кислой гречневой каше непролазной грязи, – ноги утопают в родной мокрой земле, а великие княжны волокут тяжелые чемоданы, и у Татьяны в руках целых два, она же сильная, она... как выражается дядька Нагорный... сдюжит; а за пазухой у нее сидит ее чудесная собачка, французский бульдожка Ортино, ты только не лай, милый, ты утро потревожишь. И этот вокзал, где он, его не видно. Может, это вокзал-призрак, как все здесь; а может, его со-

всем нет.

Маленькую болонку Джимми, чтобы не придерживать рукой, Настя посадила в платок и узел завязала сзади себе на шею. Усмехнулась: как повязка-косынка, у раненых, если в руку солдата ранило.

В такой же повязке, как в нагрудной кошелке, Ольга тащила спаниеля Бэби – Джоя. Джой время от времени беспокойно влаивал.

Дождь бил молоточками в землю, вода стекала с мокрых собачьих морд, земля раскисала, потом загустевала, в нее можно было окунать ложку и швырять ее на сковородку, и выпекать черные блины. С коркой прошлогодних листьев. С солью прошлогоднего снега. Под дождем быстро снег исчезнет, последние его клочья.

Сестер опередил Нагорный. Он нес Алексея. Так несут хрустальный кубок. Где же пролетки? Или опять эти нелепые возки, подобные тобольским и тюменским диким кибиткам? Охрана сказала: сядете в пролетки, они на перроне, за тремя составами. Обойдите составы, и все сами увидите. Утро, дождь и слякоть. Татьяна чувствовала у груди тепло собаки, а глаза ее ловили плывущую в мареве дождя широкую, как баржа, спину Нагорного. Вон он, перрон, его серая плаха. И правда, пролетки. Даже с тентом, о счастье, они укроются от дождя. Зонты у них с собой, в чемоданах, но сейчас неподручно их вынимать. Грязь! Всюду грязь. Великая грязь. Уж лучше снег. В снегу тоже можно завязнуть.

Нагорный о чем-то сердито говорил с конвоем на перроне. Махал руками. Мокрые ленты его бескозырки ползли на плечи черными ужами. До Татьяны донеслось:

– ...бессердечные твари!

И следом – громко, на весь перрон, чужой голос, и услышала не только она, но и сестры:

– Это пусть ваши твари, голубая кровь, сами несут свои чемоданы!

Анастасия запунцовела. Ольга, напротив, побелела.

– Мы уже твари, – прошептала она. Нога утонула в грязи. Она вытащила ногу, и грязь гадко хлюпнула.

А может, мы драконы. Или хищные многозубые щуки. Или ядовитые змеи, и ползем, ползем по этой грязи, по этой сырой и волглой земле, и ищем, кого бы смертельно укусить. Нет, мы вурдалаки, и мы питаемся покойниками, разрываем свежие могилы. Нет, мы чудовища гораздо страшнее; нам нет имени, известно только, что у нас голубая кровь, и в этом единственная наша вина. Нет, мы...

У пролеток стояла новая, неведомая охрана. Глядели уныло, исподлобно. У кого винтовки за плечами, у кого наперевес. Будто за цесаревнами кто-то черный идет; видимо, заговорщик. И вооружен до зубов. Нагорный мерил диким взглядом человека, что держал лошадь под уздцы. У человека над слишком высоким, будто он болел водянкой, выпуклым лбом торчали вкось и вверх безумные волосы. Волос было так много, что войди в них – и заблудишься. Человек воз-

вращал матросу такой же дикий, расстреливающий взгляд.

По их соединенным взглядам можно было пройти, как по веревочному мосту над пропастью.

Глаза, ведь это почти огонь. Они сожгут все мосты, если надо.

– Комиссар Ермаков! – крикнули от второй пролетки. – Рассаживай арестованных!

Татьяна подвлокла оба чемодана к пролетке. Бульдог у нее за пазухой высунул большеглазую гладкую, курносую морду и бешено, ненавидяще залаял.

– Тихо, Ортино, тихо, тихо... А то тебя убьют...

– Заползай! – истошно крикнул комиссар Ермаков и указал пальцем на пролетку. – А лучше – прыгай живо!

Татьяна, еле дыша, взгромоздила один чемодан в пролетку. Ермаков стоял и смотрел. Он напоминал ожившую тумбу на базарной площади. Бешеные глаза, бешеные руки. И собака лаяла бешено, будто старалась попасть с чужим бешенством в одну ноту.

– Таточка, миленькая, – уныло сказал Алексей. – Я же не могу тебе помочь, это мне тяжело... а я – калека...

– Ты не калека! – громко крикнула Татьяна. По ее вискам тек пот. Она втащила в пролетку второй чемодан. – Никогда больше не говори про себя так! Товарищ комиссар! Тут больше места для людей нет!

Ермаков указал Ольге и Анастасии на вторую пролетку. За этими экипажами стояли еще три.

В первой пролетке восседал под дождем комиссар Белобородов, начальник всего Урала, весь Урал под ним, под красным царем.

А комиссар Ермаков глянул на Белобородова так, будто бы это он, Ермаков, тут один царь. И других тут быть не должно.

– Что возитесь?! – во весь голос крикнул Белобородов. – Я весь вымок! Хоть выжимай!

– Трогай! – крикнул Ермаков кучеру так, будто орал: «Убирайся!»

Лошадь заржала и рванула. Пролетка с наследником и Татьяной тронулась.

Ольга прыгнула в пролетку первой и подала руку Анастасии. Джой весело тьякнул. Джимми отозвался.

– Настинька, давай, ты же ловкая...

Анастасия, придерживая на груди повязку с Джимми, взобралась и отдула со щеки прядь, выбившуюся из-под шапки.

– О да. Я такая ловкая.

– Собачницы хреновы! Мало им вещей, псов за собой тянут!

Ермаков махнул рукой, будто в бою, в кровавой каше рубил чью-то зазевавшуюся голову; тронулась пролетка с сестрами. Лошади шли одна за другой, ветер дул в лицо, и Татьяна одной рукой обняла Алексея за плечи.

– Алешинька, скоро увидим мама и папа. И Машиньку.

– Я по Машке соскучился. Очень.

– И я тоже.

Мокрые хвосты лошадей и мокрые их спины растаяли в серой измороси.

– Выводи! – крикнул Ермаков охране вагона четвертого класса.

И вывели их всех – царских слуг, верную свиту, верных, жалких, беспомощных, с бегающими глазами: куда это нас привезли?.. Боже, какой дождь и туман!.. – всех их: фрейлин и поваров, лакеев и гувернеров, графинь и статс-дам, солдат и генералов – и вся вина их в том, что они царские, бывшие, бросовые, дешево и сердито позолоченные; а позолоту стряхнуть, а взять на прицел, да только не здесь, хотя перрон весьма удобен для расстрела, – надо обождать, сделать все по закону, а закона-то нет, каждый сейчас сам себе царь, и кто над ними тут царь? – да он, Ермаков, – а они, отребье, огрызки, вон идут, ноги волокут по размытой дождями земле, оступятся да в грязь упадут, а туда им и дорога, ибо грязь они, грязь и плесень мира, и как можно скорее надо с этой плесенью расправиться, чтобы легкие свободно развернулись и сердце пламенно забилося под красной, свободной звездой.

Комиссар Родионов глядел еще человеческим лицом, а комиссар Ермаков – бесым.

– Бес, – сказала графиня Гендрикова и тайком, мелко, перекрестила грудь.

Солдат Волков сказал:

– Госпожа Гендрикова, я вот из вагона... варенье захватил...

И протянул банку с запекшейся черно-красной, ягодной кровью.

– Это – вам...

Графиня не успела вымолвить «вот спасибо». Скорым шагом подошел Ермаков.

– Что это у вас?! Нельзя! Запрещено!

Вырвал банку из рук Волкова. Сунул в руки подбежавшего охранника.

– Жрите, к чаю. Все из вагона вышли?! Пересчитать еще раз! По головам!

И их, как скот, считали по головам.

– Раз, два, три, четыре, пять, шесть... семь, восемь, девять... Рассаживай!

Впереди трясся в пролетке Белобородов. Конвойные, на конях, скакали по обе стороны кортежа.

– Нас как в гробах везут, хоть мы и живые, – няня Теглева обернула мокрое лицо к графине Гендриковой.

Графиня сжала руку няньки. Они обе глядели на чужой дымный город Екатеринбург. Дома, и трубы, и колонны, и крыльца, и мокрые деревья, и заплоты. Стекла блестят, как слезы. Вот встали около глухого высоченного забора. Дома за ним не видно. Здесь сойдем? Выйти Харитонову и Седневу! Остальным оставаться на местах! Вперед!

И ехали вперед. И приехали. Вышли все, щупая ногами

Комиссар Белобородов радостно засмеялся.

– А я в тюрьме родился благодаря вашему чертову царизму.

Граф Татищев кусал губы.

– То есть как? Правда? Вы... родились в застенке? В... тюремной камере?

Белобородов продолжил смех, смех извергался из него мощно, искренне, длинно, ему не видно было конца, и Татищев терпеливо ждал – так пережидают залиvistый лай собак на охоте, когда они дружно и бешено поднимают волка.

– Тюрьма – вся наша родная страна. Вся Россия была тюрьма! Непонятно?

Опять хохотал.

Смех его когда-нибудь кончился.

И в наступившей тишине, под дождем, во дворе екатеринбургской тюрьмы, около пролетов, что доставили их не к любимым царям, а в каменную пасть красного зверя, граф Татищев отчетливо, по-армейски, сказал, глядя в самую середину мокрой фуражки комиссара Белобородова, в черный мокрый козырек:

– Очень даже понятно. Понятно все. Вы доделаете то, что мы не успели. Переймете опыт. Вы изо всей России сделаете образцовую расстрельную тюрьму.

Белобородов заорал:

– Молчать!

Граф Татищев усмехнулся и развел руками, будто проиг-

рал в вист или в преферанс лучшим друзьям.

Потом выпрямился. И ни одного ордена, ни одного креста на груди, а всем почудилось – его грудь в орденах. И обливает, поливает их слезами нудный, обложной дождь.

Генерал и комиссар мгновение молча глядели друг на друга.

Татищев тихо сказал, и Белобородов услышал:

– Рот не заткнешь мне, холоп.

Глава седьмая

«Щель между прошлым и будущим – вот наше настоящее.

Настоящее как узкая щель между прошлым и будущим, настоящее – голод, болезни, прошлое – невозможность, будущее – счастье коммуны:

– Мы пустим тракторы, пустим фабрики, мы преобразим землю.

Возражение неверующих:

– У нас сейчас нет ничего, все создается постепенно, как же мы из ничего сделаем паровые плуги? Мы сейчас берем готовое, созданное прошлым, и в то же время отрицаем прошлое, а нового ничего не создаем.

Голос «трудовика»:

– Как же, из ничего сделаем, как от ничего перейдем ко всему, так перейдем пропасть настоящего.

...Амбар холодный и амбар общий. Начало при Керенском: речь Владыкина про общий амбар.

Конец при Ленине: холодный амбар. Этапы земледельца-хуторянина: разорение, холодные амбары, воспаление легких, лазарет и земля.

Доски на театр и на гробы. После доклада оратор приглашает высказаться, и вот гул со всех сторон: «Хлеба нет, керосина нет, соли нет! Сажают в холодный амбар. Амбар!

Амбар!..»

Председатель культурно-просветительного кружка приехал реквизировать доски для устройства подмостков в театры. «Не дадим, не дадим! – кричат.

– Они определены на гроба». Спор... Со всех сторон вздохи тех, кому нужны гробы: «Ну и жизнь, вот так жизнь, помрешь, и не похоронят, зароят как собаку!»

...Не к шубе рукава. После речи о счастье будущего в коммуне крики толпы:

– Хлеба, сала, закона!

И возражение оратора:

– Товарищи, это не к шубе рукава! Товарищи, все мы дети кособоких лачуг, все мы соединимся.

– Соли, керосину, долой холодный амбар!

– Товарищи, все это не к шубе рукава!»

Михаил Пришвин. Дневник 1918 года

...Пашка глазами больной медведицы смотрела, как в Дом входят эти.

Царские дочери. Все вымокшие под дождем. И дрожат, зуб на зуб у них не попадает, будто не весна нынче, а хищная зима. Но как горят безумием счастья их лица! Они как юродивые. Так веселятся!

Бегут по коридору. Волокут по полу чемоданы. Эта, что впереди всех бежит, самая высокая. У нее глаза – две синие

сосульки. Текут и плачут. Весна. Та, что замыкает шествие, видно, самая из них малышка. У нее красный нос: так задрогла. И шмыгает.

У них у всех на груди висят странные котомки; и из них торчат мокрые, веселые собачьи морды, и собаки лают взахлеб, весело и звонко.

Лямин стоял у входа, не снаружи, а внутри Дома. Он тоже все видел: вот крупными разлапистыми, раскидистыми шагами прошествовал матрос в бескозырке. На руках у матроса сидел мальчишка, уже довольно взросленький, что его все время на руках таскать? Лямин недоумевающе уставился в широченную спину матроса под мокрым бушлатом. Мальчик у матроса на руках обнял его за шею, пальцы вцепились в бушлат до посинения, будто боялся упасть.

«Такой великовозрастный, и все на ручках таскают, вот чертовня, баловники».

Мальчика неумолимо несли, а он глядел на Лямина.

Лямин стоял, расставив ноги, за спиною сжимал руки в кулаки.

«Верно, думает, какой же я рыжий. На меня все всегда так смотрят. А мне все равно. Пускай едят глазами».

Ни к селу ни к городу вспомнил присловье: «а в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят». Отец, Ефим, так произносил: «...их ядять, оне глядять!»

Пашка торчала на втором этаже, близ перил с пузатенькими деревянными колоннами. Вроде как встречала цар-

ских дочерей. Иногда, сверху вниз, кидала взгляд на Лямина, и он, не видя, чуял этот взгляд затылком: будто кипятка на затылок плеснули, и хотелось растереть.

Пашке дивно было, как затряслись руки у старухи. Старуха даже помолодела, вот тоже диво: подобрались собачьи брылы, потоньшела шея, на голове, вместо всегдашнего мокрого полотенца, красовалась кружевная наколка, будто снежком седую кудрявую голову присыпали. «Вот же кокетка, – думала Пашка неприязненно, – перед мужем старым красуется, вертлявка!» Миг спустя до нее дошло: это она перед детьми, чтобы детей обрадовать.

И отчего-то стыдно стало Пашке, муторно на душе, тяготно.

«Скорей бы уж расселились по комнатам, что ли. А ведь еще Авдеев сейчас к себе заграбастает. Будет обыскивать, вытрясать из них все, что есть и чего нет...» Пашка поерзала плечами, будто у нее под гимнастеркой чесалась спина.

– Мама, мама! Папа!

Та девчонка, что шла за долговязой дылдой, первая рванулась. И повисла на шее у царя.

Вислоухая собачка кругами бегала возле их ног.

– Папа, папочка!

«Первым отца обняла. Отца сильно любит», – думал Лямин.

«А мамку-то что же?..» – обидчиво думала Пашка.

Между царями стояла Мария. Она не выдержала, броси-

лась к сестрам и, показалось Пашке, даже целовала самый воздух вокруг них. Эх ты, сколько поцелуев господу друг на друга обрушивают! Как они любят лизаться!

Пашке чудилось – она подсматривает что-то ненужное, запретное. Впору отвернуться. И она отвернулась. Теперь только слышала эти возгласы, эти царские голоса.

Они резали и уши, и душу.

А Лямин, стоя внизу, вывернув шею до боли, видел все. Видел, как Мария лобызала цесаревича, а мальчик, обнимая ее, потерял фуражку, она свалилась на пол, и матрос деревянно стоял, страшась на фуражку наступить. И чуть не падал под натиском сильной, крепкой Марии. И краснел – ведь она обнимала не только брата, но и его, матроса, слугу.

«Вот матросня проклятая. За что ему такое счастье привалило».

Мысли заглушались толпой вскриков, ахов, радостных рыданий. Лямин не мог тут думать, а мог только смотреть. Тупо; сердито; стыдно; любопытно.

А Пашка демонстративно стояла спиной ко всей этой сентиментальной голубокровной сволочи, к этому отжившему, траченному дворцовой молью барахлу, и могла только слышать дыханья и восклицанья, а за ее спиной угрюмо торчал, пропарывая крикливый воздух коридора, воздух слезной встречи, штык ее верной винтовки.

«Хорошее оружие у нас. Если бы такое там, на фронтах, было. Может, и войну бы мы эту царскую – выиграли. А те-

перь уж все равно».

– Мамочка! Душенька!

– Ох, душка... душка...

– Дай поцелую еще, еще раз...

– Это что-то невероятное, дети... мы вас так ждали!.. долго...

– Господи сил! Где вас держали?! Нам сообщили, поезд давно прибыл...

– Мы стояли на запасных путях!

– Алешинька... сыночек... Господи помилуй...

Матрос нежно опустил цесаревича на пол. Он тут же потянулся к отцу, и отец наклонился над ним и обнял его.

И Лямин увидел, как непонятно, сторожко и вместе слепо, восторженно, поплыли вбок, вбок зрачки царя – и вправду как у слепого, значит, от восторга и любви человек может потерять зрение, да и все остальные чувства; остается только любовь, спутанно и тяжело думал Лямин, и вот она, любовь, и такая огромная, – а он-то что? Он-то – разве *так* когда-нибудь почувствует?

Глаза уплывали, ресницы дрожали, мелко и слезно, царь ничего не видел от счастья, голова клонилась вниз, еще ниже, тяжело, будто вместо головы у царя с шеи свисала золотая виноградная гроздь, и он эту голову, и руки свои, и всего себя приносил сыну в угощение, в наслаждение, в праздник любви. Михаилу почудилось – царь стоит не в застиранной и уже, о стыд, залатанной на локтях гимнастерке, а в ка-

кой-то красной хламиде, будто бы в шерстяном, а может, даже в бархатном красном плаще; и плащ этот тоже старый, в заплатках, но торжественный, слишком алый, – и его как стукнуло в темя: да это же не плащ, а это флаг, флаг наш красный! зачем он им обвернулся?.. – и плечи его согнуты, наклонены, как под спудом, под гнетущим к земле грузом, непосильным для человека, – и руки ловят плечи сына, накладываются на эти тощие подростковые плечи, щупают их, гладят, словно еще не верят, словно надо еще доказывать, что это все наяву, а не во сне, – и лицо мокро и блестит, и волосы растрепаны и сияют, и царский алый виссон льется вниз, до полу, и мальчик, этот загадочный мальчик, его рождения так ждала вся Россия, а он оказался больной и хилый и, может, не жилец, встает перед отцом на колени.

И слепые руки ползают по плечам сына, по затылку его. И слепое лицо ищет губами – прикоснуться к родному лбу, к щекам. Слепые щеки залиты слепыми слезами. И все вокруг слепо. Зряча только любовь.

Лямину захотелось плюнуть на половицу и плевком прогнать морок.

– Сыночек!.. Сыночек мой... Счастье мое... здравствуй...

Он видел, как Пашка обернулась. Штык сверкнул под тусклой красноглазой коридорной лампой.

– Папа! Любимый!

«Как крепко обнимаются. Сейчас друг друга в объятиях раздавят. Кости треснут».

– Оличка, ты такая... такая...

– Машка!.. а ты!.. Сто лет тебя не видала.

– А я – двести!

– Вместе, вместе...

– Климушка! Что стоишь! Неси чемоданы в комнаты!

– Слушаюсь, ваше величество...

Сапоги. Сапоги Авдеева. Они грохочут снизу вверх.

По лестнице. По заполненному, забитому людским счастьем коридору.

– Вновь прибывшим арестованным – с вещами – проследовать – в комендантскую!

Радостные вопли и вскрики живо смолкли. Люди смотрели на Авдеева: кто такой?

«Да им же всегда все ясно, кто мы такие. И они каждый раз удивляются. Будто бы с луны свалились».

Лямину страшно хотелось курить. Но почему-то казалось сейчас выйти на крыльцо и всунуть в зубы самокрутку – жестом наглым и даже подлым.

«Стой и смотри».

Авдеев протянул указательный палец. Самая маленькая из сестер, бойкая девчонка, сначала уставилась на этот вытянутый заскорузлый палец, потом проследила, куда он показывал.

На открытую дверь в комендантскую комнату.

– А вы знаете, господин, что пальцем показывать неприлично?

Авдеева передернуло.

– Я не господин! Сколько раз вам всем повторять: вы уже живете в другой стране!

Откашлялся.

– В стране победившего пролетариата!

Помолчал жестко, зло.

– И мы все – товарищи!

Лямин переводил глаза с лица на лицо.

«Только вы нам не товарищи».

«А отчего ж не сделать их товарищами? Может, и они с нами сработаются?»

«Да никогда. Никогда этого не будет. Цари они и есть цари».

«Все ясно, гусь свинье не товарищ».

Лямин поправил на плече винтовочный ремень.

– Понятно?!

Голос Авдеева, прокуренный и влажно-хриплый, неожиданно мощно, как фальшивый оперный бас, громыхнул под высокими сводами коридора. Смешная девчонка, похожая на коверного клоуна, стриженная неровно, с косой самодельной челкой, сделала быстрый нахальный книксен и отчетливо, как на иностранном языке, вычеканила:

– По-нят-но.

Царица прижимала к груди руки. О чем-то молча умоляла. Снег кружева осыпался с ее головы, обкрученной седыми кудерьками, на плечи с картонными подставками-плечи-

ками, на рукава и дрожащие руки, на пол.

– О, Анастаси, ich weiss nicht...

– Я все знаю! – крикнула девчонка.

Пашка грубо сдернула с плеча винтовку и угрожающе наклонила штык.

– А ну ступайте в комендантскую! – зло выплюнула. – Еще разводить антимонии! Прибыли – извольте на обыск!

На царе исчез, растаял призрачный алый плащ. Цесаревны ухватились за чемоданы и потащили их по коридору. Матрос выхватывал поклажу у них из тонких ветвей-рук, насильно вырывал и нес сам. Мальчишка стоял рядом с царем, царь сзади него, руки у мальчишка на плечах, и прижимался к нему ребрами, животом. Лямину показалось: это царь сейчас сын, а мальчишка – отец, и защищает его собой, заслоняет. На старухе лица не было. Вместо лица шла сначала одна волна – ужаса, потом другая – радости, потом третья – мольбы, потом волны менялись местами и накатывали снова.

Они все вкатились, как по грязному столу белые жемчужины, в комендантскую – все: и люди, и чемоданы, и баулы, и даже собаки. Одна собака затыкала за пазухой у одной из девиц, когда они уже приблизились к комендантской. Две носились у людей под ногами. Пашка тряхнула винтовкой. Опять сплюнула.

– Черти, а, – покрутила головой, и весело и сердито. – Собак с собой по Сибири таскают. Одно слово – господ!

Лямин знал, как она ненавидела господ.

«Классовая борьба, и ничего иного. Это самая важная вещь на свете. Все остальное, как говорит повар Гордей, гиль».

Одна из девушек подхватила курносую собачонку на руки.

Скрылись за дверью.

Пашка шумно выдохнула. Нацепила на плечо винтовку. Оперлась локтями о перила и сверху вниз длинно и тоскливо поглядела на Лямина.

– Мишка, – ее голос был так же тускл и тосклив, – Мишка! Сейчас начнут их трясти. Искать сам знаешь что. Знаешь, что?

Ему пришлось кивнуть головой.

– А ежели найдут?

Лямин пожал плечами.

«Вот дура, говорить на эти темы, и прямо перед носом у Авдеева».

– Как думаешь, а может, это все сказки?

Он, еле переставляя ноги во вдруг ставших тяжелющими, чугунными, сапогах поднялся по лестнице на второй этаж, смерил Пашку взглядом мрачным и мудрым. Придвинул к ней лицо. Ощутил жар ее веснушчатой круглой щеки.

– Ты, заткни пасть. Много будешь знать – тебя Голощекин сам зашибет. Или Юровский.

Пашка свистнула. Ей очень шло свистеть. Она становилась похожа на подворотного парня-хулигана.

– Меня Авдеев защитит.

– А с какой это стати он тебя защитит?

– Ну, добавь: дуру такую.

– Дуру такую.

Пашка тихо засмеялась.

Он ощутил сначала легкий укол, потом на месте укола вспыхнула и быстро разлилась по телу, а потом и по сердцу живая, острая боль.

– Что? Что об Авдееве подумал? И... обо мне?

Развернулась. Через плечо кинула:

– Ну, думай, думай. Тебе – полезно.

Он тоже повернулся, сбежал с лестницы, нещадно гремя сапогами.

Ноги прели в давно не стиранных портянках.

* * *

– Ну и как? – Авдеев даже не сел за стол, как обычно. Не принял начальственный вид. Стоял рядом с чемоданами и глядел на них жадно, жарко. – Открывай!

Ольга присела на корточки рядом с самым большим чемоданом.

Нагорный бросился вперед.

– Дайте я.

Повозившись с замками, отпахнул чемоданную крышку.

– Что тут? – Авдеев тоже сел на корточки, рядом с Ольгой.

Она тут же встала. – Так. Тряпки. Трясите! – Ольга смотрела непонимающе. Авдеев сам схватил одежды, встал и стал трясти, а может, что на пол выпадет, какая улика. – Черт. – Бросил бархаты на пол. – Ага, книги. Рукоделье! Пяльцы! Святое дело, барышни, черт. Иконы! Черт! Снова иконы. Дались они вам. Бога никакого нет, товарищи! Бо-га-нет! Зарубите себе на носу! Думайте! Включайте мысль!

Ольга попяtilась. Анастасия, эта самая бойкая, палец в рот не клади, открывала другой чемодан.

– Натe! – крикнула звонко. – Смотрите! На здоровье! Вам же интересно!

– А ты, – Авдеев подшагнул к нахальной девчонке, – замолчи. Иначе!

– Что иначе?!

– Настя, не перечь им, они...

У старухи сердце колотилось так, что было видно под тонкими кружевами белой кофты.

Все они вырядились в белое, эти царские бабенки. Будто на свадьбу.

– Я ничего такого не сказала! – крикнула девчонка и сильно раздурмянилась. Похоже было, она ничего и никого не боялась. Для нее этот новый Дом был – приключение, и эти грубые красные солдаты – тоже приключение; они разбойники, а она прекрасная принцесса, и принцесса как должна говорить с разбойниками? Так, чтобы они легли, как псы, у ее ног!

– Вы цепные псы вашего... Ленина!

Старуха в ужасе запечатала себе рот потной ладонью.

– Замолчи, замолчи сейчас же...

Авдеев пнул чемодан. Анастасия смотрела на него не хуже собаки. Сейчас тявкнет и в ногу вцепится.

Залаял французский бульдог на руках у Татьяны.

– Смотрите, товарищи. У нас нет ничего... предосудительного.

– Это вы раньше у нас искали предосудительное! Прокламации... газеты, где мы пропечатывали все про народную волю! – Авдеев начал огрызаться, как пес. – А теперь мы – у вас – преступное – ищем! Вот так оно все перевернулось! Отлились кошке мышкены, ядрить, слезки!

– Всегда найдется то, что можно осудить.

Царь хотел это сказать примиряющее, а вышло – будто он сам кого-то сурово и навек осуждал. Его, Авдеева.

– А вы – вон отсюда! – заорал Авдеев вне себя. – Обыскивают не вас, а вновь прибывших! И ничего тут я с вашими дочерьми не сделаю! Подумаешь, драгоценности!

При слове «драгоценности» старухины щеки стали двумя снеговыми комками и мелко задергались, и льдом застыла у нее на затылке кружевная, похожая на короткую мантилью, накладка. Чтобы не сказать лишнего и самой не сорваться в крик, в оскорбленья, она двинулась к выходу из комендантской, выплыла, и за ней, ссутулившись, вышел царь, вжав голову в плечи, враз утерев стать, военную строгую вы-

правку.

...Авдеев подошел к Ольге. Она не смотрела на него. Старалась не смотреть.

– А это что?! – Комендант ущипнул Ольгу за ухо. – Как блестит!

– Это мои серьги. Мне их подарила мама на день рождения.

– Серьги! – Дернул злым голодным ртом. – Счастье ваше, что вышел декрет, и там черным по белому... что бывшие имеют право оставить себе только те драгоценности, что – на них самих! Все остальное, слышите, все вы обязаны сдать! Революционному правительству!

– Я вас слышу. Не кричите.

Ольга брезгливо морщилась.

– Ты! Не морщься! Будто я прокаженный какой! С тобой разговаривает революционный комендант! – Авдеев хотел толкнуть Ольгу кулаком в плечо – и не толкнул. Его остановили горящие двумя свечами глаза этой оторвы, младшей. – Молчать! Развяжи баул!

– Вы не имеете права говорить мне «ты», – сказала Ольга. Ее улыбка была для Авдеева хуже пытки.

Он заорал надсадно:

– Как хочу, так и говорю! Здесь командую я!

Татьяна, прижимая к груди собаку, быстро развязала баул.

– Вот, смотрите.

Авдеев наклонился, поковырялся в вещах.

– Одни тряпки, в бога-душу.

Разогнулся. Охнул: болела спина.

Окинул взглядом Татьяну и ухватил клещами пальцев ее жемчужное, на высокой шее, ожерелье с золотым крестиком.

– Счастье твое, что этот декрет... богачки, стервы!

– Как вы изволили назвать мою сестру?

Алексей шагнул вперед и прожигал глазами Авдеева. У Авдеева сильно, до малинового цвета, покраснелось лицо; Татьяна испугалась – не хватит ли коменданта сейчас удар.

– А ты – смолкни, щенок! Тебе слова тут никто не давал!

Алексей выпрямился и сдвинул каблуки.

– Я вас – вызываю!

Авдеев с минуту молчал, расширяя глаза. Белесые его ресницы изумленно подрагивали. Потом стал хохотать, этот хохот походил на бульканье супа в огромном котле.

– Ты?! Меня?! – Хохотал, кулаком тер глаза. – Лучше сумку открой! Вон ту! И вещички показывай!

– Я открою, – сказала Татьяна, опустила собаку на пол и щелкнула замком сумки.

Она все делала быстро и четко. У нее были очень ловкие, подвижные руки. Авдеев вспомнил: во время войны в газетах печатали, что великие княжны работают сестрами милосердия в госпиталях. Да, эта – может, сестрой. И хирургиней может стать; если, конечно, поучится.

– А на рояли – играешь? – неожиданно спросил, на быстрые и нежные пальцы глядя.

Татьяна разворачивала бархатный кафтан с длинными, обшитыми золотой бахромой рукавами. Блеснул шелк подкладки.

– Играю, – растерянно сказала она.

– А! Это вот здорово. У нас тут есть рояль. Правда, расстроенная. Не настраивали давно. Но звуки, ха, ха, издает. Увешались камешками-то! Хитрованки! – Глядел на Татьянины браслеты, усыпанные росой мелких бриллиантов; крупный, с перепелиное яйцо, сапфир взрывался слепящим светом, в него било солнце сквозь грязное оконное стекло: в комендантской окна не были замазаны, как всюду, известью. – Все на себя понацепили, что можно! Ну, с вас мы все это добришко, конечно, сдирать не будем... а то можно бы... – На мочки смотрел, на пылающие в них алмазы. – С мясом...

– Тата, не бледней, – шепнула Ольга, – в обморок не грохнись...

– Вы дьявол! – высоко, как со скалы, крикнула Анастасия.

Авдеев обернулся к ней и пошел на нее. Она не пятилась, стояла, только крепко зажмурилась.

– Это мы еще посмотрим, – тихо и изумленно пообещал он.

Анастасия открыла глаза.

– Настя, молчи, прошу тебя. Ты всех нас погубишь.

– Оля, хорошо.

– Эти драгоценности, – Авдеев цапнул ожерелье на гру-

ди у Татьяны и чуть не порвал его, – все созданы нашим, рабским трудом! Нашей рабочей кровью! Нами... мы стояли у станков! Мы надрывались в шахтах! Мы!.. а не вы. Это на наши, на наши кровные, народные деньги вы – их – покупали! А теперь мы сорвем их у вас с шей, с запястий! Из ушей – вырвем! Мы их – народу вернем! Сполна вернем! И это... будет... справедливо!

Далеко, в гостинной, били часы. Авдеев копался в чемоданах и баулах.

Время остановилось. Алексей зевнул и сел на подоконник. Татьяна следила за ним – чтобы не упал, не ушибся, не подвернул ногу.

... – Ты здесь... я не верю.

– Дай я тебя пощупаю. И их... пощупаю тоже.

– Лекарства?

– Да. Их.

– Видишь? Нет, ты чувствуешь? Мы все зашили... Мы все... привезли. Все с нами.

– Умницы мои.

– Почему мои, родная, и мои тоже.

– Отец, никто у тебя не отнимает твоего отцовства. Любуйся. И целуй.

– Дай я тебя поцелую.

– И я тебя.

– И я.

– Тише, тише. Здесь все может прослушиваться.

– Алешинька!.. ты так вырос за это время.

– Мама, у меня болит здесь. И еще вот здесь.

– Солнышко, тебе надо быть осторожней. Всегда.

– Я и так стараюсь – всегда.

– Любимая, дай я его прижму к себе.

– Только осторожней прижимай. Не причини ему боль.

– Папа! Сожми меня изо всех сил! Я так по тебе соскучился! Я так...

– Милые! Милые! Да ведь Христос воскрес!

– Воистину воскрес!

* * *

...Алексей, что ни ночь, стонал. Как он ни крепился, боль оказывалась сильнее его. Всегда сильнее. К его кровати подходили все. Мать вскакивала первой и неслась к нему, будто летела белая птица и крылья развевались. Склонялась над изголовьем, всей крупной, мощной грудью. Обнимала не руками – всею собой. Эта грудь выкормила пятерых. Эти руки выхаживали, бинтовали, перевязывали, пушили слежалую вату, стирали попользованную марлю, чтобы высушить и наложить опять – в военных госпиталях подчас была нехватка перевязочных средств. Неужели она, такая сильная, умелая, милосердная, не спасет, не вылечит своего единственного сына?

Цесаревич тяжело поднимал веки. Мать с ужасом глядела: у него глаза старика.

Как у младенца Рафаэлевой мадонны, проносились мысли и улетали, свободные голуби.

– Алешинька. Родненький. Как ты?

– Мама... Плохо.

Она клала ладонь на лоб и убеждалась – да, правда: пот холодный, а лоб горячий.

– Где болит?

– Мама, везде.

Она откидывала одеяло и трогала распухшее колено. Под тонкой кожей ощутимо прощупывалась и явственно была видна гематома – синяя, лиловая. Царица просвечивала гематому отчаянным взглядом и видела в ее глубине, в недрах тела сына, черноту, и эта чернота становилась уже непроглядной.

– Ой! Не трогай.

Рука матери не прикасалась – гладила простыню.

– Милый мой мальчик. Утром пригласим доктора.

– У нас же есть доктор Боткин.

– Мы пригласим другого. И они посоветуются вместе с Евгением Сергеичем, что и как надо теперь делать.

Алексей схватил руку матери, крепко прижал к щеке.

– Мама! Да может, ничего делать не надо.

Мать опешила. «Как это не надо, о чем мальчик говорит, – она кусала губы, – а, да, я понимаю, он хочет сказать, что все

безнадежно. Что он инвалид, и надо все бросить, его бросить, больше не лечить, а дать ему... – Она все-таки мысленно произнесла это слово. – Умереть. Дать ему умереть. Но Григорий сказал однажды, я помню, и так твердо сказал, крепко: доживет до шестнадцати лет, и всю эту болезнь как рукой снимет! А может, Распутин говорил о бессмертии?»

Она сама спросила себя: о каком бессмертии? – и сама же себе ответила: ну, что Бог заберет Алешиньку к Себе, и не будет ни болезни... ни печали, ни воздыхания...

– Как это не надо?

– Очень просто. – Хотел повернуться, притиснуться ближе к матери, и лицо перекосилось, боль резко прочертила его. – Скоро же все кончится.

– Что, Господь с тобой?

Он прочитал ее мысли. Не думать, это запрещено, об этом нельзя. И его развеселить, отвлечь.

– Все. И будет все равно.

– Не все равно! Не все! – Рука бессмысленно передвигала пузырьки с микстурами и каплями на укрытой белым деревенским подзором тумбочке. – Тебе очень больно? Я бы не хотела давать тебе еще раз опий, на ночь же ты пил...

– Дай все равно.

Дрожащими руками царица накапывала опийную микстуру в маленькую рюмку с золотым ободом по краю. Разбавила водой из кувшина. Кувшин чуть не уронила. Поднесла сыну. Подняла его голову с подушки и поддерживала под затылок,

другой рукой держала рюмку. Он выпил одним глотком, зажмурившись, и, когда поднял разжаренное лицо к матери, она увидела, как он изо всех сил сам себя старается уверить, внушить себе, что капли чудодейственные, что они сейчас убьют боль.

Он жил не рядом, не близко к боли – он всю свою маленькую жизнь жил внутри боли, и ее апартаменты изучил вдоль и поперек, она распоряжалась и им, и собой, была в этом доме полновластной хозяйкой, и, когда она на время уходила из дома, рассерженно хлопнув дверью, он судорожно вздыхал и умоляюще думал: а вдруг, боль, ты потеряешься в пути и не вернешься, не вернешься никогда. Но она мрачно возвращалась и, грохоча, открывала дверь своим чугунным ключом. И он опять говорил ей: здравствуй.

– Мама, прошу тебя, ступай спать. Мне уже лучше.

– Сыночек, не обманывай меня. Опиум не может подействовать так быстро.

– Нет, правда. Святой истинный крест.

Он выпростал из-под одеяла руку и торопливо перекрестился. Еще иной раз боль пугалась креста. Так учил его старец Григорий. Старец накладывал на себя крест и шепотом приказывал ему: перекрестись, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. И боль уйдет. Крестился Друг, и крестился он. И сходил странный покой. Боль вроде была, и вроде ее не было. Она парила рядом и смотрела на него. А он – на нее. Так непонятно. И есть, и нет – может, так люди живут потом,

после смерти?

Мать смотрела на сына, и она вся была – любовь и боль.

– Я верю тебе. Но я все равно посижу тут, рядом с тобой. Я беспокоюсь.

Алексей попытался улыбнуться, у него не получилось.

Опять коротко, сдавленно простонал.

– Лежи спокойно. Не шевелись.

– Мама, если ты тут будешь сидеть всю ночь, тебе будет скучно.

– Мне скучно никогда не бывает. Но все же я принесу ручку. Постарайся заснуть.

Мать удалилась в свою спальню, быстро явилась, с мотком белых тонких ниток, начатым изделием и вязальным крючком в руках. Глаза Алексея закрыты. Так, хорошо. Он еще не спит, но пытается заснуть. В угоду ей. Она села на табурет рядом с кроватью. Развернула вязанье. Что это будет? Летняя ажурная кофточка для Марии. Ей так идет белое. Впрочем, белое идет им всем. Они ангелы.

И ее сын тоже ангел; только никто, никто этого не понимает, и уже наверняка не узнает.

Ком перекрыл горло. Она ухитрилась проглотить его, этот снежный ком боли, и не зарыдать громко. Утерла вязаньем слезы. Пальцы заработали быстро, будто клевали крохи из кормушки голодные птицы. И она огромная зимняя птица; только никто об этом не знает.

Птица, и пятеро ее птенцов. Хватит ли крыльев, чтобы

укрыть?

А с весенних полей идет гроза, оттуда, с востока и юга, с накормленного стрельбой и пожарами запада, с чернозема, с Уфы, Бузулука и Бугуруслана, с Омска и Кургана, сюда, на Урал, долетают эти черные пожарищные ветры, и она, выходя в тесный двор их тюрьмы, все явственней ловит ноздрями эту адскую гарь.

Как это они голосили давеча в караульной? Молотя по рояли, неистово куря? «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут». Как там дальше?

Против воли слова лезли в голову. Руки вывязывали петли, а голова готова была лопнуть по черепным швам от горя, красного смеха. «В бой роковой мы вступили с врагами! Нас еще судьбы неизвестные ждут!»

– Раз, два, три, четыре... – губы беззвучно считали петли.

Алексей открыл налитые болью глаза.

– Мама, я хочу повернуться на бок. И не могу.

Она аккуратно положила вязанье на тумбочку.

– На какой, сынок?

– На правый. Чтобы не на сердце спать, ты же всегда так говоришь.

– Я тебе помогу.

– Спасибо.

– Только ты не шевелись. Я все сделаю сама.

Очень бережно, страшно медленно, сама себе поражаясь – как она могла его так медленно, тяжело и сонно, перевора-

чивать, как во сне, а сон все не кончался, – мать сама, сильными своими руками, перевернула сына со спины на правый бок, и он, морщась и постанывая, чуть вытянул вперед большую ногу, потом тяжело, низким голосом, охнул, и ее сердце мгновенно облилось кровью, а лоб вспотел; она погладила мальчика по виску, по щеке, утерла ему углом пододеяльника пот, поправила одеяло, укрыла, перекрестила.

– Так хорошо?

Голос ее срывался.

– Очень хорошо, мамочка. Спасибо. Ты вяжи, вяжи. Опий уже действует.

Опий и правда действовал: у Алексея смыкались веки уже по-правдашнему.

Мать смотрела на белое вязанье, оно мелькало у нее в руках, крючок протыкал нитки, зацеплял, тянул. Он протыкал ее шею, ее сердце. Кровь лилась на белый снег. На эту известь, ею замазаны окна. Она все быстрее работала крючком, все быстрее и жаднее крючок из слоновой кости подцеплял нить, совал голову в ажурные дырки, в земляные дыры, в капканы, в пропасти. И выныривал. И снова падал вниз головой. Она не хотела сходить с ума, но сходила. Дыхание мальчика выравнивалось. Боже, спасибо Тебе за опий. У нее таким живым опием был Распутин. Но вылилась наземь мензурка, и оборвалось чудо. Никто так и не узнал, что это было истинное чудо. Григорий, чернобородый, безумный, с радостью горящим взором, вставал перед наследником во весь

рост, он напоминал ей пророка, источающего воду из скалы, и клал руки на плечи Алексею, и говорил, сначала тихо, потом все громче, и неясны, невнятные были слова, их невозможно было запомнить, застенографировать, и под струями этих слов без слов, этой речи без речи, а просто под потоком этого льющегося басовитого, густого голоса мальчик расслаблялся, прекращал задыхаться от боли, раскидывал ноги и руки, щеки его розовели, и он – нельзя представить, но это была их явь – улыбался. И улыбался Григорий, и склонялся, откидывал одеяло и весело щекотал наследнику пятку. «Ну вот, – уже внятно говорил он, смеясь, – а вечером мы с тобой, дружок, даже ко Всенощной пойдем! Не бойсь!»

Григорий в могиле. Они живы.

Но как это он сказал тогда, в Зимнем дворце, задрав голову и глядя на прекрасный большой, в рост, парадный портрет царя кисти Валентина Серова: «Погоди, матушка, еще погоди немного. Вот меня убьют, а там и вам недолго».

Царь с портрета смотрел на них обоих огромными, насквозь прозрачными, серо-голубыми, чуть в изумрудную зеленью, глазами, и в глубине радужек вспыхивали странные алые огни. Голубая муаровая лента, шевелясь и дрожа, текла через грудь весенней, ледоходной страшной рекой. Глаза драгоценные, а губы под золотыми усами пытаются улыбнуться и не могут. Весь дорогой, любимый, и так послушно позировал Серову, так смиренно стоял. Серов писал, кисти звенели о тугой холст, и все бормотал: «Агнец кроткий». Она

услышала – и будто ее обварили кипятком.

...Алексей уже сопел. Слава Богу, уснул.

У нее было чувство, что она вяжет сама себе белый саван.

* * *

Из окон столовой виднелись кроны диких яблонь и кусты сирени. Сирень зацвела разом, будто взорвались кусты лиловым безумьем, и цвела буйно, долго и сладко, не осыпаясь, и все, высовываясь в растворенные окна, жадно дышали ею, будто напоследок.

– Мама, а помнишь романс Чайковского? Растворил я окно, стало душно невмочь... опустил я пред ним на колени...

Татьяна пела и кружилась посреди столовой. Картины мигали ей со стен тусклыми красками, старым лаком.

– Тата, какой сейчас Чайковский!

Царь стоял у окна и смотрел вниз. На город.

– Е-ка-те-рин-бург... – шептал.

– И в лицо мне пахнула душистая ночь... благовонным! дыханьем! сире-е-ени!

– Ники, дети, пойдемте в залу!

Зала, гостиная. В зале спали доктор Боткин и слуги Седнев и Чемодуров. Господи, как же это люди будут жить без слуг? А ведь в умных книжках пишут, что да, несомненно, настанет такое время. Все будут сами себя обихаживать. А может, им будут помогать умные механизмы. Прогресс

идет, его не остановить!

И везде, всюду часовые. Везде охрана. И около уборной. И близ кухни. И двое – всегда – около столовой. И целых четверо, топчутся, пахнут табаком и водкой и потом, вечно хотят курить – около спальни. Ну как же, в спальне самые драгоценности и заключены. Спальня – это шкатулка. Не дай Бог из нее сокровища пропадут. Они уж много денежек стоят.

...и жизнью... жизнью...

А около уборной – ванная комната; и царь всякое утро велит набрать себе из колодца холодной воды, налить в ванну, и сам, в чем мать родила, туда прыгает.

«Полко-о-овник... вышколенный. Холод, голод ему нипочем. Ай да царь!»

Лямин стоял на карауле около уборной, нюхал запахи хлорки, слушал, как крякает и плещется царь в ванне.

Все они, как под лупой, смотрели на все, что царь делает. Как ест. Что пьет. Как спит. Как в окно глядит. Видели, слышали все. Вот напевает. Вот курит. Вот плачет, прислонив козырек ладони к русым бровям. Вот целует старую жену. Вот дочек обнимает. Вот на сгибе руки сынка носит по комнате, а в глазах такая тоска, а рот улыбается и говорит, говорит.

– Сейчас идем, Аликс!

– А в саду где-то чудно запел соловей... я внимал ему с грустью... глубокой!..

– Рояль! Рояль! Маша, к рояли! А я певица! Я Аделина Патти!

Лямин не впервые слышал, как Мария играет. Но, когда она села за рояль и прикрыла стопой круглого медного карася педали, у него по лбу, по спине потек постыдный, жаркий пот.

– И с тоской я о родине вспомнил своей... об отчизне я вспомнил... дале-о-о-окой!

Татьяна шуточно кривлялась, прижимала ладони к выпирающим из-под кружев ключицам. Косилась в окно, во двор. Во дворе, вдоль забора, выстроились часовые. Стояли в ряд. Задрали головы. Слушали музыку. Пересмеивались. Мария нажимала на клавиши, руки ее не порхали и не летали – она еле передвигала их по клавиатуре, цепляя, как коготками подранок, желтые, с ямками от тысяч уже мертвых, истлевших пальцев, старые рояльные зубы. Бросила играть. Закрыла щеки ладонями.

У Татьяны брови поползли вверх.

– Ты что, Машка?

Мария посмотрела через рояльный резной пюпитр в открытую дверь.

– Эти двери, – ее губы дрожали, она говорила нарочно громко, – вечно открыты. Тата! Закрой!

– Но... – Татьяна мяла кружева под яремной ямкой. – Запрещено же...

Мария вскочила, чуть не запнулась за педаль. Подбежала

к двери.

Никогда еще Лямин не видал у нее такого злого лица.

На ее лице крупными черными мазками было написано отчаяние.

И еще: Я ВАС ВСЕХ НЕНАВИЖУ.

* * *

Михаил плашмя лег на кровать. Теперь у него была, наконец, кровать. После всех скитаний.

Авдеев кроватью – оделил.

Мысли толклись прозрачной обреченной мошкаррой. Взлетали и гасли. Он не ловил их, не разглядывал. Пусть летят.

Он припоминал рассказы Люкина и младшего Завьялова. Мужики говорили наперебой, им все хотелось выболтать.

Он прижал палец ко рту, словно говоря сам себе: тихо, тихо. Что будешь вспоминать, вслух не говори.

«Странно устроен человек. Вроде бы это и не с тобой было, а – как с тобой. Так красно баяли, что ли? Да ну их. И приврнут, недорого возьмут. Что Люкин, что Глебка. Оба хороши. Брехуны».

Ноги в сапогах набухли. В пальцы стучала кровь. Он носками зацеплялся за пятки, стаскивал, лежа. Разленился.

«И человек – шкура такая; дай ему волю, подай мягкое ложе, подай сласть на подносике – и возомнит о себе, и палец

о палец не ударит».

...Фразы метались под теменем, чужие рваные фразы. Хотки. Пулей выпущенные шуточки. Вздохи. Скрип зубовой. Хлебки, глотки. Все вставало перед занавешенными тяжелыми веками глазами; так однажды он видел цветные сполохи и свечи, бегающие по небу, они складывались в кресты, круги и стрелы, а потом вдруг реяли прозрачным бабьим шарфом. Северное сияние. Однажды ночью... над зимним, замкнутым в синий лед Тоболом...

...Осталась семейка. Булки ее белой кусок. Девчонки, да уж не несмышленки. Барышни уже взрослые, таких в деревнях замуж отдавали, а свекровки на них – воду возили. Дай стакан! На, да не подавись. Остались-то остались, да воли им все как не было, так и нет. А хозяин-то в Тобольске кто? Правильно. Умница. Павка там хозяин. Пава Хохряков. Этот – злобой своей уж на всю Сибирь славится. А что думаешь, почему они все такие, ну, как псы? Не знаю. Так им – удобней. Легче им так.

Павка Хохряков правит Советом. А Совет – всему голова. А Павка – его лапа когтистая. Прэд-сэ-да-тель. Протянет, оцарапнет – не почудится мало! Девки царские, бойтесь Павку! Ну они, понятно, и боятся. А Павка-то знаешь кто? Не знаешь ни шута. Он кочегаром служил на пароходе «Александр Третий»! Вот как оно. Кочегар.

Ну и людей в топках жжет. Ровно бревна. Жжет, кочергой ворошит и смеется. Ха-а-а-а!

Хозяин города. Что его левая пятка захочет. Какая пятка, окстись. Павка – приказы из Москвы слушает. От Ленина, от Свердлова. Верно. Я сам телеграфные ленты в Губернаторский дом привозил, с почтампа. Лента длинная, а на ней закорючки. Со мной телеграфист трясется. Разбирать крючки и складывать из них секретные слова будет прямо на ухо Павке. Нам, челяди, это знать не положено. Всему миру ненароком разболтаем.

Разболтаем – и стрельнут.

Точно. Готовил Пава выгонку девиц сюда, на Красный Урал. Готовил, сука, как тройную уху. Сначала этих сварит, потом этих покрошит. Потом укропчика добавит. Лучка зеленого. А у нас на шее – слуги эти! Да не слуги, дурак ты, а свита. Свита? Кого они свивают? Брось, это слово такое, так вся эта богатая дрянь, что вокруг царей вьется, именуется. Ну, а слуги, слуги-то у них есть? Я ж и слуг помню. Я тоже помню. Вымучили они меня, эти слуги. Хуже господ. Нос дерут. Яйца не те, молоко не то. Я одной так и гаркнул: погоду, я вместо коровы тебя с ранья подою!

Собираются. Как на похороны. Ревут ревмя. Я им: что ревете? Они молчат и слезы льют еще пуще. Я одну – по плечу потрепал. И каково плечо-то? Да какое, какое. Мягкое.

Тихо. Ветер! Ветки. Стекла! Разбито там стекло. Самое большое окно, в обеденной зале, поперек треснуло. Камень бросили? Все может быть. За руку, за пятку никого не поймали.

Так и плакали? Так и плакали. Все пол слезами залили. Я шел и прямо лужи под сапогами видел. А может, это собачка напрудила! Все может быть. Может быть все.

А Родионов? Еще хуже Павки. Павка хозяин над Тобольском, а Родионов – над Домом. Девочек чуть ли не плетью охаживал. И что, ни одну не обгулял? Ржи, ржи, конь. Я б и сам не прочь. Но это ж как сундуки с золотом. Украдешь горстку, щепотку – и тебя на пустырь, в расход. Ну и рассчитали б! А ты б полакомился! За одну ночь, за вопли эти и крики в подушках – жизнь класть?! Ну, не такой уж я козлина безмозглый. Я – жить хочу.

И они хотят. Ой как хотят! Ходят вокруг меня кругами. Как собаки, заглядывают в рожу. Родионов гаркает. Глотку чуть не надорвал, охрип. Чай со сливками горячий попивал. Сливки царевнам приволокли. Кто приволок? Жена попа, Гермогена. А правда, что Гермогена убили? Много будешь знать – состаришься в одночасье. Понял?

Наши там как? С новиками смешались. Быстро друг к другу попривыкли. А к Родионову – не привыкли? Нет. Он сильно злой. Ему бы – стада охранять. Овчар чистый. Солдат так же школит. В ненависти блюдет. Внушает нам: девки эти – вражины, и парень этот немощный – вражина лютый. Ты пойми, они ж на знамени ихнем, на штандарте – золотом вышиты! Все их немецкие морды! И с этим знаменем Антанта на нас как пойдет! Как скovyрнет Ленина! Съерашит революцию к едрене матери! А Ленин – на троне. Трон за-

нял. Ленин – наш, рабочий. Он наши страдания до косточки знает. А кто он? Он сам рабочий. На заводах работал. На наших, уральских. У станка стоял. Врешь ты все, он рыбак. Он на Белом море рыбалил. Это ты врешь! Он неподалеку от моего села родился. На Волге. И землю пахал. Пахарь он! Наш, крестьянин! А потом выучился на умного. В этом, как его, уверня... сетете.

Родионов лютует, выходит? Выходит, так. Не сдерживает себя. В клеть бы запичужить – стальные бы прутья перегрыз. Княжны узелки увязывают. Родионов входит. «Встать!» – орет, аж уши лопаются. Девчонки и без того уж вскакивают, лапки, как зайцы, у груди складывают. Глаза круглые, птичьи. Родионов старшей княжне в глаза глядит. Сражаются глазами. Кто кого переборет. Он глаза отвел да как рванет револьвер из кобуры. Они думали, заорет, аж присели, коленки согнули. Родионов так тихо, нежно: даю вам еще час на сборы. Час промелькнет – на себя пеняйте! Улыбается. Во рту резца нет. Как у плохой собаки. А старшая, Ольга, в беззубый рот ему так и смотрит. И губы так сложила: плюнуть хочет. Прямо в черный этот рот.

А баронесса эта? Ну, в узкой юбке что ходила? В новомодной? А, немка. Немецкая эта саранча. Бускевдан, она? Да, Бускевдан. Как ее бишь? Софья Гансовна. Нет, Софья Карловна. У нее с Родионовым война. Она ему под дверь однажды кусок дерьма подложила. В день отъезда случайно на него шкап уронила. Он еле увернулся. Чуть ее не убил.

Что ж не убил?

Тоже понимает: золото. Этим золотом, может, расплачиваться с той же немчурой будем.

С англичанами. Нет, с австрияками. Да ни с кем мы уже расплачиваться не будем. Мы всех давить будем. Душить. Кто к Советской России грабли протянет – того прямо в сопатку. В сопатку!

А Бускевдан называла Родионова – Левиафан. Что, что? Кто? Левиафан. А, Левиафан. Это из Писания зверь. Он всех пожрет, кто спрятаться не успел. А ты? Что я? Ты успел? А ты? А я уже спрятался. Куда? За спину Родионова? А что, у него спина широкая. Родионов был при царе жандарм. Быстро перелицевался. Сам себя живо перекроил. Закройщик.

Жандарм, вот козий навоз. Саблю на боку носил, царям служил. А зачем народу стал служить? Какому народу. Сам себе он стал служить. Стакан крепче держи! Ветер. Какой ветер. Ветер на всем свете. А ветер на том свете? Он есть?

Нет. Родионов не жандарм. Слухи ходят, он никакой не русский и не Родионов. Он латыш. Латышский стрелок? Вроде того. Он жандармом стал нарочно. Из хитрости. Вполз без мыла в дырку. Полиции нужны были жестокие. А он был жестокий? Людей насмерть засекал. Жандарм, а разведчик. Двойной жизнью жил? И провокатором не стал? Брось. А вдруг он и сейчас провокатор. Нам-то что с того. Нам же все равно.

Все равно.

Девки собираются. От ужаса разум теряют. Мальца тепло одевают. На улице весна! А его в шубку кутают, в шапку. И плачут над ним. Его, как сломанную игрушку, слезами заливают. Родионов входит. Царская, поди ж ты, тайная полиция! Латышский оборотень! Врешь, он сейчас наш. Входит и глядит на часы, и орет: я ж вам что сказал! А сестрички кругом вокруг кресла с мальцом встали, парнишку заслонили. Родионов наган вынул и в потолок как стрельнет! Девки вздрогнули, а парень – ни черта. Смотрит на командира, зрачки к его лычкам примерзли. К его харе прилипли. Не отлипают. Почему не убил на месте? А все то же: золото, золото. И еще своя шкура. Шкура дороже ненависти. Даже самой лютой.

А как Родионова раньше звали? Ну, когда он латышом был? Не знаю. А я знаю. Ну, как? Ехан Швикке – вот как. Ехан, твою ж мать. Ехан! А когда же стал Родионовым? Его в Родионова – время нарядило. Что теперь судить, гадать.

Стакан не урони. Ветер! Ветки гнет. Клонит колокольни. Бьет с поклоном до земли. А ты вдумайся, сколько матерей по все Расее – воют, стонут! Сынки загнули. Кому война... а кому, ха, мать родна. Матери. Вот у тебя есть мать? Есть. И у меня есть. А у тебя? Молчит. Ну его. Сейчас зарыдает. Налей ему.

Ну, спаси Христос.

Богослужения-то Родионов разрешал девкам? А то. Весь

уклад как при стариках. Они без Бога жить не могут. На столе у них иконы разложены. На камчатной скатерти. Как золотые карты. Батюшку ждут. Является батюшка. Раскладывает Святые Дары. А Родионов рукой машет. Латышскому стрелку! Своего взял, из Риги нарочно выписал. Может, с ним по-латышски балакал? Стрелок возле престола встанет с ружьем и стоит, на Дары пялится. Батюшка подгребает. Родионов встает обочь попа, стрелок – по другую руку. И давай его обыскивать! И монахинь, что с ним прибрехали, всех обшаривали. Рожа такая, когда их за ребра, за груди щупал, становилась котячья. Монашки морщатся. Одна упала в обморок! Родионов ее за шкурку поднял. Встряхнул. Из нее стекляшки не посыпались? А золотишко? Жаль, нет. А хорошо бы.

Не раздевал? Раздевал. Еще как. Заставлял сдирать с самих себя черную шкурку. Они упирались. Он одной в глаз кулаком дал. Она упала. Девки ее ловили. Белые с лица стали! Думали, и им синяки наставят. Их же никто не бил никогда. А мы – побьем! Воспитание!

Находили при обыске что? Ничего. Родионов и стрелок радость свою маленькую находили. У них в паху портки воздымались. А батюшка голосит свое: тела Христова примите, источника бессмертного вкуси-и-и-ите...

Двери княжнам приказал ночью открытыми держать. Они скулили. Его просили. Он ни в какую. Смеется беззубо. Зубами взял да щелкнул, как волк. Княжон напугал. Они аж отпрыгнули. Татьяна как шагнет к нему. Кулачонки сжала. Я

думал, ударит! Она кулак подняла. Родионов смеется: давай, ударь. И что-то непонятное добавляет. По-латышски? Да пес его знает.

Зачем он так? Он хотел в любую минуту войти и глянуть, что там у них. А что ночью у девок? Спят, разметавшись. Старик Волков тут командиру под ноги подкатился. Тоже кулаками потрясает. Это же девушки, девушки, кричит! Родионов его за шею обнял. Голову к его голове притиснул. Лоб ко лбу. Дышит в него. Старик зажмурился. Может, и пожалел, что на власть напал. Они должны замуж выйти! У них уже есть мужья. Кто?! Мы, скалится. Мы-и-и-и! Солдаты. Красные командиры. Комиссары. Мы, Советы. Народ имеет полное моральное право взять в жены царских выблядков. Народ! А не заморские корольки. Пусть спят и ждут! В любой момент войдем! Не исполните приказа моего – пеняйте на себя!

Анастасия скакнула козой. Кричит, щеки пошли красными пятнами: ну что вы нам за это сделаете, что?! Ольга ей рот рукой зажимает. Родионов хохочет. На месте расстреляю! И не охну!

Считаешь, он прав? А кто сейчас прав? Да никто. Или – все. Ты прав. Я прав. Родионов прав. Он за революцию кровь свою проливал. Он видел зверства жандармов. И он вынужден был их повторять, чтобы на месте удержаться и революцию не предать. А может, он царя предал? Так ему казнь тогда положена. Что казнь! Он сам палач.

Кто, кто? Что слышал. Не повторю. А то ты на меня Родионову донесешь. Не донесу. Я сам себя еле до постели донесу. Иди к царевнам! Они не спят. Тебя ждут!

Ветер. Ветер. Везде! Всюду. На всем свете.

Над реками и садами, над оврагами. Над могилами. Все раздует. Все сметет.

А тебе кто больше всех приглянулся? Из девок-то этих кисейных? Да все девки хороши. Все девки хороши всегда! А тебе? Что молчишь? Говорить не хочешь?

...Ветер серым рыбьим ножом взрезал льды на реках. Льды пучились, трескались и высвобождали воду. Вода заливалась поверх льда и продавливала его. Вода и лед, свадебная пара. Молодожены. Лед трещит, льдины расходятся в стороны, вскрывается жесткая, жестокая серебряная корка, и свободная вода идет мощно и круто, выгибом, выбрызгом, лед шуршит, шумит, небо жадно отражается в ледяной веселой воде, очумело падая сверху вниз, валясь в воду, качаясь на ней ледяными парусами, становясь ею.

Это было там. Это было так недавно. Выздоровливал этот странный молчаливый, слишком вежливый мальчик с твердым, как мрамор, взглядом. Он уже свободно, плавно поворачивал голову в подушках. Смотрел осмысленно и строго. Сестры то и дело подходили к кровати, поправляли одеяло, изо всех сил улыбались брату.

Он улыбался им в ответ. Мне уже лучше! Мы видим. Мы счастливы. Утирали слезы, так, чтобы Алексей не видел: обо-

рачиваясь к высокому, как итальянское зеркало, окну. И то правда, в стекло можно было смотреться: ночью. За окнами темная, ветреная ночь. На душе тяжесть. И сердце тяжелое, гиря пудовая, тяжело его душе поднять. Биться ему тяжело.

Лежит мальчик. Смотрит глубокими колодцами спокойных глаз на девушек. Что тебе почитать на ночь? Четы-Миней? Иртыш тронулся. Лед вздымается торосами, дыбится. Ты совсем выздоровеешь. Совсем, скоро. Совсем скоро. Ты лежи спокойно, а я буду тебе читать. Страницы толстой церковной книги пахнут воском и ветром, ветром. Указательный тонкий палец перелистывает их воздушно, балетно. Голос летит над книгой, над миром. Над последним снегом. Мальчик плачет. Ты еще, пожалуйста, почитай мне, прошу тебя. Еще. Ну пожалуйста. Сохрани сие, и Бог да будет между мною и тобою, дондеже благодать Его в нас нечто новое устроит. Братец, как станет тебе полегче, ты скажи, и отправимся в путь. К нашим любимым. Наши любимые ждут нас. А ты их так любишь? Почему ты плачешь? Люблю. Ты от этого плачешь?

Душа моя, тебе тяжело, но не оглядывайся назад. Небо светится. День прибыл, и свет прибыл. Деревья голые. Им холодно. Но соки в них уже текут. Соки идут от земли вверх. Это чудо. Соки преодолевают земную тяжесть. Иртыш, он такой безумный. А Тобол нежный. Я буду плакать по Тоболу. По поленнице восковых желтых дров. Их нарубили папа и ты. Я написала маме последнее письмо. А с дороги нельзя

будет послать еще одно? Нет. Дорога – это земля и реки, реки и земля. И больше ничего.

Лицо мальчика в подушках тонет, тает. Тусклая лампа качается и гаснет под потолком. Прошлогодня муха сидит на никелированной спинке кровати. Серебряные шишки торчат над железной решеткой. Наволочка, обшитая кружевами, вся пропотела. Надо сменить белье. Надо приготовить горячее питье. Раньше, в Зимнем дворце, мы пили чай с лимоном. Или с имбирем. Или с цукатами. Или даже, помнишь, с персиковым вареньем. Анюточка Вырубова варила. В большом медном тазу, а таз помнишь?

Таз помню. Я гляделся в него, как в зеркало. А потом пытался покатить по паркету. А у него же ручки. Медные ручки, как уши. И он не покатился. Упал. И я опять плакал. Я плачу как девчонка.

Ты не девчонка. Ты наш защитник. Ты нас поведешь и защитишь.

А скоро почки лопнут? Скоро, Стася. Может быть, завтра. Они уже толстые и зеленые. Завтра Страстной четверг, надо все чистить и мыть. А я лежу. А ты лежи! Мы сами все вымоем. Почему господин Родионов так громко кричит? Не господин, а товарищ. Он мне не товарищ. И никогда им не будет.

Страстная неделя. Наш Господь страдает. Его бьют плетками, и у каждой свинцовый шарик в кожаном хвосте. Он истекает кровью. Его привязали к большому камню, и вокруг

растекается кровь, море крови. Это море не перейти босыми ногами. Оно слишком большое. А что оно такое? Оно – время.

И мы его не перейдем? Тата, ну что ты молчишь?

Иртыш гонит лед. Тобол торжествует и улыбается. Весна, тепло, летние пухлые облака в легкой вышине. Ветер. Его слишком много. Он сдует крышу с дома. Он перевернет наши возки, когда мы поедem. Это ураган. Сестрички! Зачем я так болен! Я обуза для вас всех.

Господь с тобой, милый. Спи.

* * *

Мы встретили Страстную неделю грудью. И Пасху – лицом к лицу. Нельзя потакать себе! Нельзя думать о благоstном Боге, когда вокруг надвое рубят людей, в ухо тебе шепчут предатели, а на площадях то мы расстреливаем их, то они расстреливают – нас.

Мы? Они? Кто такие мы и кто они? Мы все перепутали. Мы в этой революции запутались вконец. Порой кажется, что они и мы – это все равно мы. Все равно.

Лямин часто думал о том страшном и высоком, о чем не думал никогда. Он воображал, что люди, все, вся огромная Россия, а может, и все человечество, сцепившись в один огромный чудовищный ком, падает куда-то в кромешной тьме; и падает, и разбивается, а потом встают разбитые, иска-

леченные, кто выжил, и – начинают опять взбираться, ползти вверх. Они идут. К ним еще подходят выжившие люди. Вот живых уже много. Вот они опять сильны. И идут, все вверх и вверх, по пути проходя сквозь ужасы смертного мора, чуму и холеру, через тьму, выстрелы и дымы войн, через безумие суеверий и мракобесия, через голод, – тьмы людей, тьма народов движется, перемещается по земле, переселяется, кормя детей грудью в пути, умирая и скребя ногтями чужую землю, забывая родину и строя новую обитель, – и, наконец, вот она, сияющая вершина! Вот – счастье! Они опять дошли! Они – победили!

А тут – она. Революция. Война. И в небе красная Луна. И она льет кровь с ночного неба на землю, и земля захлебывается в крови. Люди валяются с вершины, слипшись в громадный комок, этот ком опять захлебывается воем, дерется, истекает кровью, – падает, падает. Падает вниз.

Лямин тряс головой, отгоняя эти думы. Они слишком близко стояли к безумию.

«Спячу, если так дальше пойдет. Надо выпить».

И шел к Авдееву; и просил на косуху – в счет жалованья.

...Лямин стоял во дворе, у высоченного забора, слюнил пальцы и оттирал выпачканную в сметане штанину. К столу монашки притаскивали свежее, еще теплое, жирное молоко и сметану в крынках. Сметана отсвечивала голубым, а молоко – золотым светом. Все было святое, чистое. Красноармейцы и хотели бы перекреститься, да стыд брал. Кое-кто кре-

стился украдкой. Но крестики на шеях, на старых вервиях, на черных гайтанах висели под гимнастерками у всех.

Подбежал Люкин.

– Чо возисся? А, чистоту наводишь. А Пашке-то дай, она простирнет! Ванну гдей-то детскую нашли, на задворках. Пашка – в кладовой поставила. Там стирает. На всех нас, Авдеев приказал.

Лямин бросил скрести штанину.

– Авдеев? Что, право имеет?

– Имет! Пашка-то его подначальная! Подчиняцца командирю, не сметь ослушацца! Што в царской армии, што в Красной – все один хрен... Над тобой начальник, а ты внизу...

Михаил смолчал. «Лучше не тревожить осиное гнездо. Я возмущусь, Авдееву передадут, Авдеев – Родионову, явится Голощекин и хлопнет меня. Мы же все вши. Одной больше, одной меньше – все равно».

– Как Пасху-то в Тобольске справили?

– А я чо, не рассказал?

– Да мне твои рассказы... Что, спросить нельзя...

– Отлично справили! Пашка на весь отряд куличей напекла. Рукава засучила – тесто замесила – и давай шуровать! Мы, как театру, глядели. Круг печки расселися. Эх и пахло! Правда, куличи без изюму. Но тесто тяжеленькое, и сахару раздобыли, и яиц. Сдобное. Ели, пальцы облизывали. Впору стихиру запеть! Да, брат, на ту Пасху там у нас такая каша

заварила! Врагу не пожелаешь расхлебывать.

– Каша? Какая еще каша?

– Ну все такая. Хлебнули мы горячего! Аккурат на Пасху. Служил архиепископ Гермоген. Крестный ход, ну знаешь, все честь по чести, и тут вдруг Гермоген останавливацца, руки взбрасыват над толпой – и провозглашат анафему революционной власти! Гремит на весь Тобольск: помышляющим, яко православнии Государи возводяцца на престолы не по особливому о них Божию благоволению... и тако дерзающим против их на бунт и измену: анафема-а-а-а!

– Вот как оно...

Лямин голову задрал и смотрел на кучевые, плотно и радостно громоздящиеся в острой, блажной синеве облака. На заборе сидела бойкая сойка с рыжей головой, с ярко-синими стрелами на перьях крыльев.

– Да, брат, никто не ожидал! А впрочем, Совет-то ожидал. Да дело не закончилось на этом. Владыка крикнул: все за мной! К Губернаторскому дому! Освободим цесаревича! И, прикинь, пошел, крупными такими шагами, и все – за им пошли... валом повалили... ну, думаю, церковная революция наступат!

– А ты, что ли, там был?

– А как же не был. Княжны-то на службе стояли. Со свечками в руках. Их попробуй только в храм не пусти. Все постромки порвут...

– Это верно. Умоленные они.

– Лоб-то крестят, а народ свой задавили!

– Какое задавили, они же барышни.

– Барышни! Ели-пили на золоте, на хрустале! А кто то золото да тот хрусталь им добывал?!

– Ну и что, дошел Гермоген с паствой до Дома?

– Дошел. Да только мы хитрей оказались. Жара ведь на Пасху стояла. Чистый июль. А мы натолкали среди прихожан, как изюм в булку, наших людей. Красных солдат и чекистов. Просто для догляду. Штобы – без безобразий. Ан вон как оно повернулося. Гермоген – вождь, смех да и только! Я вместе со всеми в толпище шел. Притекли к Дому. Солнце головы старикам напекло, они все и рассосались. А мы все ближе к владыке подступали. Взяли его в кольцо. Как волка. А-а, думаю, волк ты в рясе, уж мы тебя щас спымам!

Лямин прислонился спиной к забору.

– Нынче тоже печет будь здоров. Аж фуражку пропекает.

– Не бойсь, мозги твои не спекуцца.

– Не тяни кота за хвост. Дальше давай.

– Дальше? Длинные уши у зайки, да коротка об ем байка!

Арестовали мы попа.

– Я так и понял. А куда деваться.

– Девацца? – Люкин смерил Михаила коротким и подозрительным, жарким взглядом. – А ты бы делся?

Забор грел Лямину спину сквозь гимнастерку.

Михаил сначала улыбнулся, потом, для верности, хохотнул.

– Куда б я делся.

– Ты не финти.

– Я?

– Ну ладно, ладно, пошутил я. Пошутить нельзя. Ну и вот.

Волокем владыку в тюрьму.

– А я думал, в Совет.

– А что зря время тратить. Сразу туды, куды надо.

Лямин прикрыл веки, и перед ним замелькала толпа, раз-метанные волосы владыки, в уши ввинчивался набат – звонили с храмовой колокольни. Он почти увидал, как стрелок поднял ружье. Колокол замолк. Жизнь оборвалась.

– Все, Сашка, поболтали.

– А теперя куды?

– А никуда. Сторожить.

– Устал я энтим сторожем быть! – Люкин сложил губы подковой. – Мне бы, браток, к земле скорей!

– Не один ты по земле тоскуешь. И без тебя тут таких – весь отряд.

Медленно ступая, пошли в дом.

Перед лестницей Сашка остановился. Пошарил в кармане.

– Эх, не хотел тебе давать, да вот помусоль на досуге. Письмишко одно. Я его у одной тетки в тюрьме забрал. У бывшей, понятно. Ее обыскали перед камерой, да плохо, видать. Она часы с собой пронесла, бумагу и карандаш. Били ее. Пытали, укрывала ли у себя в дому беляков. Молчала,

как каменюка! А потом часы развинтила... чем тольки, ума не приложу?... железяк этих наглоталася... и сыграла в ящик. Я вхожу в камеру, а тама – труп. И лежит так смирененько. Будто спит. Мишка, прикинь, энто ж так больно – от железяк в желудке умирать.

– Больно от всего.

– Я ее обшарил всю. Бумагу с карандашом прятала в лифе. Там же, видать, и часишки. Бумага исписана вдоль и поперек. Я взял! – Прищурился. – Думаю, а вдруг заговор тут! Так я ж первый открою!

Рука Сашки вынырнула из кармана. Лямин смотрел на сложенные вчетверо грязные листки. Сашка протянул письмо мертвой женщины Михаилу.

– На-ка. Изучи. Я – изучил. Ночами при керосиновой лампе читал. Мне керосин Пашка разрешала жечь.

– Пашка то, Пашка се. Пирог тебе пекла? Лампу жечь позволяла?

– А што, Пашка собственность твоя?

– Ты все знаешь. И берегись.

Криво, косо, мучительной улыбкой свело щеки Лямина.

– Да все знают. Опять же шучу! Што тянешь! Держи, коли дают.

Лямин взял исписанные листы и заправил в карман гимнастерки. Плотно застегнул пуговицу.

«Здравствуй и прощай, милая моя Тася!»

Я в тюрьме, и отсюда уже не выйду. Чтобы меня не расстреляли, я хочу сама покончить с собой. Ты не переживай, я все уже придумала, что и как.

Я, как могла, все эти полгода помогала Владыке и его супруге. Они часто голодали. Он всю провизию, что у него вдруг оказывалась, голодным детям раздавал. А я устроилась на работу в Советы, машинисткой. Мне платили жалованье. Я покупала себе на рынке жмых и прошлогоднюю картошку, хлеба мне хватало буханки на две недели, я ее мелко резала и сушила сухари. А Владыке покупала все, что надо – хлеб, масло, яйца, молоко, рыбу. Только на мясо денег уже не хватало. Но ведь и посты тут; Владыка мясо не ел, а я уже давно забыла его вкус. Но душа моя радовалась, пела.

Я знала всю подноготную Советов. Советы отдали негласный приказ: при первом удобном случае арестовать Владыку. Владыка мне сказал: «Зазочка, я знаю, скоро меня арестуют. Я не жду пощады от палачей. Они меня убьют. Они будут мучить меня перед смертью. Будут, я знаю; и я готов к мученьям. Готов каждую минуту, каждый миг. И с радостью пойду на муки, за слово и торжество Господа нашего. Я давно ничего не боюсь. И не о себе печалюсь. Я боюсь за наш народ. Что с ним станет? Что большевики сделают с ним?»

Власть готовилась схватить Владыку. Я видела эти приготовления. Тасенька, я сама печатала все приказы и по-

становления! И мне надо было так держать себя в руках, чтобы руки мои не дрожали. Мне это удавалось, когда я сидела за «Ундервудом» там, в кабинете председателя Совета. А когда я возвращалась домой – меня било и колотило от ужаса и боли, а однажды даже вырвало.

Владыка сказал мне: Зазочка, на Пасху будет Крестный ход. Готовься. Он так это сказал, что я все поняла: он все знал про себя. Знал день и час, и смело, радостно его встречал. Перед Светлым Праздником Совет послал сделать обыск в покоях Владыки. Все подгадали, когда его не было дома. Солдаты все разворошили в доме, разбили и обгадили, и, что самое дикое, разрушили алтарь домово́й церкви Владыки и гадко осквернили его. Владыка пришел домой со службы, увидел это все. Я понимаю его чувства. Но я не понимаю, как можно прощать врагам своим. Я пытаюсь, и у меня плохо получается. Видимо, это могут только святые.

Я стала готовиться к Крестному ходу. Вынула из шкапа свое самое торжественное платье. Оно чудом сохранилось у меня еще с Иркутска! Тасенька, а помнишь Иркутск? Баль у Яновских, пляски черного медведя на Покровской улице? И как мы с тобой ходили на рынок и покупали там сушеный чебак и застывшие на морозе круги молока и сливок? Какой же праздник был этот рынок! Я до смерти его не забуду. Вот умирать буду, здесь, в этом гадком застенке – вспомню. Помнишь Любу, она торговала мехами, собо-

лиными шкурками? Сотовый коричневый мед у бурятки Даримы? Облепиху, и как она горками лежала на прилавках, а мы с тобой подходили и брали маленькую ягодку – по-пробовать? А она кисло-сладкая, скулы сводит. И ты морщишься и закрываешь муфтой румяное лицо. Тася, ты такая красивая была тогда! А я при тебе, рядом, как безобразная служанка. Но мне тоже было весело.

И вот Крестный ход. Столько народу пришло, ты даже не представляешь! Весь Тобольск. Я даже не подозревала, что в нашем городе осталось столько истинно верующих. Мы шли за Владыкой, многие зажгли свечи и несли их в руках, и пели стихиры и тропари. Дошли до Кремля. С кремлевской горы мы хорошо различали внизу, под горою, Губернаторский дом. Там в неволе страдают Императорские дети. Владыка медленно подошел к краю кремлевской стены. Поднял над толпой крест. Так высоко поднял, будто до неба хотел достать. И так, с крестом, стоял на горе. И смотрел вниз, и мы все тоже смотрели.

Мы смотрели на этот Дом. И у всех, клянусь тебе, было одно чувство. Мы были охвачены одной болью и одним упованием. И это было так прекрасно. Я никогда в жизни не переживала ничего подобного.

Владыка медленно осенил крестом, крестным знаменем Дом. Я уверена, Дети смотрели на нас и видели Владыку, Кремль и крест. У меня было чувство, что я вижу их всех в окне; и как они крестятся, и я тоже перекрестилась, и все

люди, и все улыбались и плакали.

Но, знаешь, Тасенька, у меня еще одно чувство было, и очень сильное. Что мы все, кто собрался здесь и шел Крестным ходом, мы все – мертвецы. И нас завтра, сегодня уже не будет. И не будет никогда. Что вот так, вместе с нами, уходит и уйдет наша родина, та, которую мы знали и любили. А вместо нее будет что-то иное. Что? Я этого не знаю. И все, кто умирает сейчас, тоже этого не знают.

Крестный наш ход стерегли военные отряды: конница и пешая милиция. Всадники теснили нас боками лошадей. Оттесняли от Владыки. Владыка шел размеренно и твердо, ветер развевал его бороду. Глаза его ясно светились. Мне показалось, над его непокрытой головой сияет слабое свечение. Нас было много, но стояла ужасная жара, и многие старые люди жары не выдержали. Они отступали в тень, уходили домой, на прощанье перекрестив медленно идущего Владыку.

Я старалась идти поближе к Владыке и Анне Дмитриевне. Но меня отталкивали. Владыка на меня оглянулся. Я открыла рот, чтобы ему сказать: «Я люблю вас, Владыка!» – а он приложил палец к губам и улыбнулся мне: молчи, все должно совершаться в смирении и молчании.

Люди то ли сами уходили с Крестного хода, то ли их разгоняли, а может, забирали; я не знаю, но толпа таяла прямо на глазах. Нас немного оставалось, идущих за Владыкой. Конница гарцевала уже совсем рядом. Я нюхала конский

пот. Жара усиливалась, с меня тоже тек пот, как с лошади. Солдаты подняли винтовки и стали бить оставшихся людей прикладами. Они с криками стали убегать прочь. Тасенька, солдаты подошли к Владыке и окружили его, а он все еще держал в руках крест! Так они крест у него вырвали. Я так и ахнула и закрыла рот рукой, чтобы солдаты не услышали.

Я увидела: ведут его, и руки у него сложены за спиной. Все, арестовали. Я брела за солдатами, и ноги у меня были как ватные. Я слышала, среди красноармейцев кто-то говорил: не троньте ее, это Заза Истомина, она у нас в Совете машинисткой служит, ну кто же виноват, что она верит в Бога. И тут с колокольни ударили в колокол! Так были, сердце из груди выпрыгнуть хотело! Я впервые в жизни слышала набат. Нет, вру, в детстве слышала; когда у нас в Иркутске загорелись продуктовые склады на Вознесенской улице. Солдаты подбежали к колокольне, подняли винтовки и начали палить. Быстро попали в звонаря. Набат захлебнулся. Я не вынесла всего этого, ноги у меня подогнулись, и я опустилась на колени, прямо посреди пыльной дороги. Мимо меня шли солдаты. Кто-то пнул меня, как собаку. Я закрыла глаза, а когда открыла их – я стояла на коленях на мостовой одна. Люди исчезли.

Я видела, как уходили Владыка и солдаты. Они шли тесной кучкой, солдаты боялись, что Владыка убежит, вырвется – он ведь был очень сильный, крепкий. А что им бо-

ваться, у них оружие, а Владыка безоружный. Так вооружены, и такой позорный страх!

Тасенька, Владыка пребывал в нашей тюрьме, и мне разрешено было передавать ему продукты. Книги сначала передавать запретили, и бумагу тоже. Но потом я попросила председателя Совета, и бумагу для писем передавать разрешили. Председатель Совета Хохряков, правда, после этого разрешения противно подмигнул мне и сказал: «Заза, вы теперь мне должны! Вовек не расплатитесь!» Я поняла, о чем он говорит. И я подумала: если священномученики страдали, так и я тоже пострадаю, когда время мое придет. Но пока Хохряков на меня не посягал. Револьвера у меня нет, и отстреляться я не могу. А жаль.

Если бы у меня был револьвер, Тасенька, я бы сначала убила всех, кто мучил Владыку, а потом бы себя, хоть это и смертный грех.

Хохряков все письма, что передавал мне Владыка, самолично просматривал. Прочитает и мне отдаст, а на лице такое отвращение, будто он лягушку съел. А я потом письмо принесу домой, свечку зажгу и весь вечер, всю ночь читаю и плачу. Перед тем, как его замучили, он так написал: я много молюсь и вам всем советую не покидать укрепления молитвенного. Не печальтесь обо мне, что меня заточили. В темнице человеку приходит смирение и просветление. Он видит жизнь свою и изнутри, и сверху, и даже из другого времени; и даже может увидеть с высот Страшного Су-

да, когда пространства не станет, а время советется в свиток. Темница – нам воспитание и обучение. Дух в застенке музжает и торжествует. Возношу ежесдневные и еженощные хвалы Господу, что посылает нам страдания и радости. И в страдании есть радость. Ежели ты пребываешь между жизнью и смертью, ты сильнее понимаешь величие Бога и чувствуешь малость и краткость человека.

Так он писал, а я читала, и к утру вместо лица у меня катилась на платье одна огромная слеза. Я вся превращалась в слезы. А утром надо было умываться, пить чай, надевать платье и идти на службу в Советы.

Хохряков велел мне напечатать новый приказ: потребовать у Православной церкви города Тобольска выкуп за Владыку. Выкуп этот звучал как сто тысяч рублей. Церковь богатая, смеялся Хохряков, ничего, соберут! Тасенька, конечно, не собрали. Тогда я печатаю новую бумагу: собрать десять тысяч. Коммерсант Дементий Полирушев принес в Совнарком эти деньги. Как у Хохрякова рука не отсохла их взять! Но взял. Взял – и, самое ужасное, тут же велел арестовать тех иереев, кто деньги принес. Их было трое: Минятов, Макаров и Долганов. Я запомнила их фамилии, я же сама печатала приказ об аресте. Я тут же поняла, что с ними сделают. Печатаю и думаю: вам не жить, мученики. Пальцы у меня судорогой сводит.

Прихожу однажды на службу, а мне говорят: все, не будешь больше записки от попа на волю передавать! В Тюмень

его отравили! Во мне все сжалось. Так вот где его задумали казнить. Хохряков мне говорит: вы что это, Заза Витольдовна, лицом как простыня сделались? Не накапать ли вам капелек сердешных? Я постаралась не упасть на пол. Выпрямилась и говорю: не извольте беспокоиться, со мною все в порядке.

Потекли дни. Воздух вокруг меня все чернел и сгущался. Я чувствовала запах смерти, но отгоняла его от себя, как благую муху. Из Тюмени вскорости вернулся большой друг Владыки, Кирилл Рукавишников. У него брат Никандр служил лоцманом на пароходе на реке Туре. Кирилл явился ко мне за полночь. Я сначала испугалась, что кто-то так поздно стучит, но потом узнала его голос и открыла ему. Он стоит на пороге грязный, дрожащий. И плачет, мужчина плачет. Меня обхватил крепко, прижал голову к моей груди и рыдает. Я его напоила горячим чаем, а он мне рассказывал про последние дни и минуты Владыки.

Все так было, Тасенька. Владыку привезли в Тюмень. Потом погрузили его, отца Петра Карелина и трех арестованных, тех, кто деньги от Полирушева приносил, на пароход этот. Пароход подплыл к селу Покровское. Здесь на берег спустили трап и приказали выйти священникам. Построили их на берегу, в виду реки, вскинули ружья и всех расстреляли. Лоцман Никандр на палубе стоял. Кирилл говорит: «Брат хотел перекреститься, а голос ему был: зачем? Хочешь, чтобы тебя тоже убили вместе с ними? Не показы-

вай Бога им, они этого не любят!

И так мне Кирилл говорит дальше: «Владыка и отец Петр стоят рядом. Пароход качает. Никандр говорит мне: Кирилл, ты не вообразишь, какое лицо было у Владыки! Будто он в облаках Господа видел. Я говорю: Никандрушка, да так оно и есть, именно видел, в тот самый миг».

Тася, солнышко, Владыку и отца Петра эти люди спустили в темный и грязный трюм. Без еды, без воды. Как человек может так с человеком! Со своим, русским, родным! Что за диавол обрушился на Русь, что мы все так люто стали ненавидеть друг друга! И убивать, убивать. Без молитвы и сожаления.

Пароход поплыл к Тобольску. Причалили к маленькой пристани, и тут Владыку и отца Петра пересадили с одного парохода на другой, под названием «Ока». И Никандру тоже приказали перейти: у них лоцмана не было, боялись сесть на мель. Кирилл рассказывает дальше так: «Брат мне шепчет: у него уже щека щеку ест, так отоцал, а глаза горят, горят! Он видит то, что еще не видим мы все! Они перешли по трапу на новый пароход. Владыка вдруг шагнул к Никандру и тихо так ему сказал: передайте, раб крещеный, всему великому миру, чтобы обо мне помолились Богу.

Вот ночь сошла. Светлая, июньская...»

Кирилл сидит передо мной и говорить не может. И я не могу ничем утешить его.

А дальше вот что было. Солдаты вывели на палубу Вла-

дыку и отца Петра. Владыка и отец Петр переглянулись. Владыка перекрестил отца Петра, отец Петр – Владыку. Улыбнулись. Прошептали молитву. Отца Петра повалили на палубу. Притащили два огромных гранитных валуна. Крепко-накрепко веревками, густо, в сто обмоток, привязали камни к ногам отца Петра. Подняли, подтащили к борту и сбросили в воды Туры. Владыка стоит и смотрит. И улыбается. Большевики закричали ему: что скалишься, церковный пес?! Сейчас смерть твоя придет! Ну, помолись, помолись хорошенько! Кровь из народа пил – теперь речной водички попей!

Кирилл вдруг себя за плечи обнял и так стал дрожать, что я подумала – у него крупозное. Шепчу ему: может, вам малины раздобыть, меда? Так я к соседям сбегая, попрошу. Он машет рукой: «Зазочка! теперь самое страшное осталось. Но слушай! Ты должна это выслушать».

Тасенька, а ты должна это прочитать. Читай.

Капитан приказал остановить машины в трюме. Пароход стал посреди Туры на якорь. Все солдаты, толкая перед собой Владыку, спустились на нижнюю палубу. Кирилл остался наверху. Он все видел сверху. Владыку привязали к пароходному колесу. Когда его привязывали, он улыбался. А потом закричал: Господи, прости им всем, ибо не ведают, что творят! Господи, умираю во имя Твое! Капитан с мостика махнул рукой и крикнул: левая машина полный вперед, правая полный вперед! Колесо завертелось. Сначала медлен-

но, потом все быстрее. Колесо разрезало живое тело нашего Владыки. Разрезало и кромсало его на кусочки, на кровавые живые куски.

Родная моя Тася, когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет в живых. А может, ты никогда мое письмо не прочитаешь, потому что его найдут на мне и, скорее всего, сожгут в печке. Знай, милая моя, любимая, что я перед смертью молилась за тебя и за Гришеньку. Бог сохранит тебя. Мы не знаем, какая будет у нас в России жизнь. Может быть, никакой жизни вообще не будет, и все сгинет и травой порастет. А может, будет еще жизнь; и, как знать, хорошая и светлая, если мы победим силы тьмы. Мы живем теперь посредине тьмы и убийства, и многие сами стали убийцами, чтобы спасти свою жизнь. У меня есть часы. Я пронесла их сюда в исподнем. Я их развинчу ногтем на винтики и железочки, все проглочу и умру. Такая смерть гораздо легче смерти Владыки. Если он вынес муку, то вынесу и я. Зато потом я окажусь на небе, вместе с ним. Я верю в это. Я так верю в это.

Обнимаю тебя, целую и крещу, родная моя Тасенька. Христос с тобой. И со всеми нами. Аминь. Твоя Заза. Мы встретимся ТАМ».

...Лямин тщательно изучил письмо. Не зашифровано ли что в наивных, горьких словах. Искал между строк тайное, преступное. «А что шарить-то, человек сам себя убил, нету

человека, нет и подозрений». Повертел растрепанные листы в руках. Видно было, что письмо много читали, лапали. Остался даже отпечаток жирного, в сале или в масле, большого пальца.

Михаил носком сапога отворил печную дверцу и бросил письмо в огонь. Счастливые эти Заза и Тася. Глядишь, уже и встретились.

* * *

ИНТЕРЛЮДИЯ

Какая музыка звучит! Какая музыка играет, когда здесь пулемет строчит, а здесь – с молитвой – умирают!

Какая музыка... теперь... постой... минуты улетают... пока открыта в небо дверь, пока за дверью смерть рыдает.

Какая музыка... молчи... хрипят... кричат... стреляют, слышишь... Жгут у иконы две свечи. И обнялись. И еле дышат.

Какая музыка...

...да разве жизнь – это музыка? Это все штучки благородных салонов, рояли это все барские, старые, желтые, источенные жучком, широко развернутые на пюпитре ноты. А жизнь – вон она, за блестящими чистыми стеклами окна, за кружевными занавесями: бабы идут в лаптях, мужики – в грязных сапогах, и тащится тощая лошаденка, впряжена в старую телегу, в телеге свалены мешки, непонятно, с чем: с картошкой, а может, с подмерзлой свеклой,

а может, с овсяными трубьями; на мешках – детишки: глаза голодные, ручки тонюсенькие, как плеточки. Плачут – как щенки скулят. И что? А то! Мы в революцию пошли, чтобы вот этот, этот народ – одеть, обусть, накормить! Выучить грамоте!

...о если бы так. Если бы так и было.

Но ведь все это было и не совсем так.

Революционеры готовили революцию ради смуты. Не все, но многие. Народом, его именем лишь прикрывались. Им важно было ввести народ в смуту – растерянным народом легче управлять, легче гнать его туда, куда задумано властителями. Сам Ленин удивлялся и восхищался: «Как это нам удалось почти без кьови взять Зимний двойец! Ведь это же пьосто чудо, батенька! Фойменное чудо! Я сам до сих пой не могу опомниться! Ну, у нас тепей вейховная власть! И уж мы ее, будьте добьеньки, не отдадим! Ни за какие ковьижки не отдадим! Никому!»

Революционеры готовили революцию ради коммунизма. А что же это такое, коммунизм? Утопия? Трагедия? Вампука? Райский сад на земле? Почему люди за коммунизм отдавали жизни? Зачем клали себя, свои сердца, мясо, кости и души в фундамент нового мира, что никогда не был построен? И не будет.

Не будет?

Для этого надо понять, что такое коммунизм

Коммунизм – это когда все равны, все довольны, все

счастливы, все грамотны, все работают, все всем обеспечены, все рождаются, вырастают, живут. А потом умирают.

Нет преступников. Нет опасных и гадких болезней. Нет войн. Нет революций. Нет тайн за душой. Нет голода. Нет страданий. Ничего нет.

А умереть можно и безболезненно: кто пожелает, тому делают сонный укол.

Но это только в виде исключения. А так все умирают сами собой, тоже радостно и счастливо, с сознанием хорошо выполненного на земле долга.

Люди всегда идут за несбыточной мечтой. Так одержимый любовью парень идет за девушкой, даже если ее увозят за тридевять земель; идет, сбивая в кровь ноги, по дорогам своего добровольного страдания. Мечта тянет крепче любого магнита. Мечта выворачивает тебя наизнанку, перелицовывает, перекраивает. Из верующего в Бога ты становишься тем, кто разбивает молотком иконы и взрывает церкви.

Во что же ты веруешь? А, в коммунизм. Понятно.

Где же Бог в тебе? Неужели Он тебя оставил?

Ты шепчешь тихо: коммунизм, это будущее земли. И никуда вы все от него не уйдете. Никуда.

...мы забываем о том, что все они – и Ленин, и Троцкий, и Свердлов, и Дзержинский, и уже с ними, цедили сквозь зубы, когда белые наступали на фронтах и громили крас-

ных: если нас разобьют в пух и прах, — мы уйдем, да, уйдем, но мы уйдем так, что мир содрогнется; вместо этой страны оставим гнусное, чертово пепелище. Пустыню. Мертвое поле. И ничем его не засеешь долгие годы. Века. Наш ужас запомнят навеки. Мы убьем эту страну. Мы выкосим ее людей.

Мы будем уходить по колено в крови, уплывать отсюда — по морям крови.

Смерть. Смерть. Вот она, встает в полный рост.

Откуда? Из могил вождей?

Памятники им презрительно снесли, сдернули с помпезных пьедесталов. Отдали в переплавку. Из бессмертной бронзы отлили иные монументы.

А могилы их живы. Они шевелятся. Шевелится над ними земля.

...и над гробницами царей кровавым потом покрывается мрамор, и течет горячими слезами, как церковный воск, позолота, и жестокие, сумасшедшие ученые нагло вскрывают склепы, и вертят в руках черепа, и измеряют линейкой кости, и сомневаются, и верят. Я все думаю: в чем они сомневаются и чему верят?

Погибли цари; но ведь погиб, смертью храбрых полег и народ.

Царей и народ смерть сравняла. Уравняла

Там, за могилой, они нас видят, нынешних, а мы, нынешние, о них молимся одинаково: что о расстрелянных мужи-

ках, что о царских дочерях. Я вот молюсь за прадеда моего Павла, убитого в лагере при попытке к бегству; и я молюсь за цесаревича Алексея, застреленного с отцом, матерью, сестрами и слугами там, в затхлом подвале, обклеенном полосатыми обоями; и они оба, мужик Павел и цесаревич Алексей, верю, слышат меня, и их утешает жалкая, тихая молитва моя. Они родня моя, и я родня им. Мы вместе, и мы едины.

Это чувство трудно понять тому, в ком течет иная кровь и дышит иная душа.

...Смерть не щадит никого, и бестолковое дело – просить ее обождать за дверью. Есть такая старинная шотландская песенка, ее очень любил Бетховен: миледи Смерть, мы просим вас за дверью подождать! Нам Джесси будет петь сейчас, и Бетси – танцевать!

Мы все спорим, ссоримся, суетимся, – и мысль о смерти отталкиваем от себя, она нам не нужна, она совершенно лишняя в наших веселых и горячих рабочих буднях; она произойдет с кем-то другим, но только не со мной! Не со мной!

...другие революционеры, нынешние, готовят другую смуту. Власть никогда не радуется подданных. Власть всегда надо порушить, свергнуть, уничтожить – затем, чтобы на ее месте водрузить другую власть и торжественно объявить: вот, теперь это будет самая лучшая власть в мире!

А люди-то – одни и те же. Люди-то не меняются.

Человек слаб, и человек грешен, и человек любит сладкое,

и человек любит причинять боль и наблюдать смерть. Эта болезнь течет в крови человека.

И проходит совсем немного времени, и люди убеждаются, что новая власть нисколько не лучше, а может, во много раз хуже прежней; что народ страдает не меньше, а еще больше; что обман, подлог, жестокость, издевательство, насмешка, истязание, гибель никуда не исчезают, а все такие же остаются; и люди ропщут, люди копят огненный гнев, и опять изливают его на власть – ведь это только она, власть, во всем виновата!

А не вы ли, родные, за нее, за власть эту, сражались?

Не вы ли жизни свои клали, чтобы – эта власть воцарилась?

Красная власть! Равенство и братство!

...то, что все неравны и никогда равны не будут, поняли уже давно. Но соблазн вновь и вновь таится в этом красном лозунге: свобода, равенство, братство. Где свобода, покажите!

Где она! И – какая она!

Какого цвета; какого ранга; какого закона!

Революция – не свобода. И любое государство – не свобода. И нет свободы и быть не может; как не может быть вечной жизни, земного бессмертия.

Это не значит, что несвободна душа.

И это не значит, что нет бессмертия небесного.

Сыграй мне это все по барским, усадебным нотам!

*Простучи по клавишам этот нежный, душистый мотив!
Пусть за душу берет. Зажги свечи в медных шандалах! Зи-
ма за окном. Волчий мороз. Крупные, цветные, колючие звез-
ды. Хочешь поплакать над старой, над мертвой Россией?!
Плачь, пожалуй! Какая музыка поет! Какая музыка... пы-
лает... когда под знаменем народ... идет в атаку... умира-
ет...*

* * *

Мебель стояла твердо на своих дубовых ногах: прочная, на века. Все было вроде бы на века; и вдруг шкапы снялись с мест и поплыли вдоль стен, рояли накренились, как черные лодки, столы скакали чудовищными деревянными конями. И птицами с хрустальными хвостами летели люстры, опалая голые головы.

Все стало зыбко, ненадежно. Полетно, призрачно, сонно. Никто не мог бы достоверно сказать: сон нынче или явь.

– Во сне такое не приснится, что творится с Россией.

– А может, сейчас проснемся?

Татьяна часто сидела на широком подоконнике. Смотрела на улицу. В окно виден страшный островерхий забор, зубья досок вгрызаются в ветер и облака. За забором – дымы. Трубы, дымы, гарь, голоса. Люди спешат: с работы, на работу. А вот они никуда не спешат. Им некуда спешить.

– Ямщик, не гони лошадей! Мне некуда больше спешить-

и-ить!

– Тата, слезь с окна! Тебя – подстрелят! Как воробья!

– Как утку, ты хочешь сказать.

Подмигивала младшенькой, но с подоконника слезала и подходила к шкапу. Коричневым рядом, как соты в улье, стояли книги. Татьяна открывала створку и нежно, чуть прикасаясь, гладила корешки.

– Читай, любопытствуй!

– Это чужое.

Все вещи слуги инженера Ипатьева, когда тот отъезжал, снесли в кладовую; кладовая размещалась в полуподвале, и ключ от нее носил с собой комендант Юровский.

– Мама, а грустно, наверное, инженеру было отсюда уезжать. Из родного дома.

– А он разве тут родился?

– Господи, Стася, всегда прощаться грустно. Что ты плачешь?

– Как из Царского Села уезжали, вспомнила.

Мать подходила к дочери и притискивала ее голову к своей груди: вместо носового платка – материнский кружевной воротник, сырое теплое тесто родной плоти.

– А когда мы отсюда уедем?

Старуха больно сжимала клещами крепких пальцев дочкино плечо. Молчала.

– Значит, не уедем.

Морщины текли, как слезы.

– Нет, уедем, уедем! Мама, не надо!

Царь уже бежал с мензуркой, и капли пустырника в ней.

... – Леличка, а ты знаешь, в кладовой стопкой лежат иконы?

Ольга медленно оборачивалась к Анастасии.

– Анастази, ну и что из этого? Это чужие иконы.

– Но почему их сняли? Их надо повесить. Вернуть на места. Они же святые!

Ольга обхватывала себя за плечи, будто мерзла. В жару – обматывалась черной ажурной шалью. Под тощий зад, когда играла на рояле, подкладывала подушечку. На подушке вышит вензель: «ОР».

– Это не нашего ума дело.

– Ой, ну можно я хоть одну повешу?

– Когда ты успела их разглядеть?

– Я вместе... с Прасковьей...

– А, у нее ключ?

– Комендант ей дал. Чтобы Прасковья оттуда – еще один самовар взяла.

– Она брала самовар, а ты копалась в иконах?

– Я не копалась. Я – сверху увидала! Одну. Божию Матерь Утоли моя печали!

Вещи, вещи. Они мотались и качались маятниками. Они мерцали и гасли. Уходили в туман. Все вещи убьют и сожгут. Дом разломают и на кирпичи растащат. И потом из этих битых кирпичей где-нибудь, кому-нибудь сложат печь в бане.

Вещи человеческие, такие привычные. Стулья, подушки, кастрюли. Бумаги и книги. Подумай, Мария, этого всего через каких-то пятьдесят лет не будет. Залезь в будущее и погляди: что увидишь? Ничего. Ни печных этих изразцов, ни полосатых обоев, ни стула с обивкой в мелкий цветочек. Ни чернильницы на столе, ни ручки с вечным пером. Вечное? Какое вечное? Где здесь вечность?

– Машка, нас охраняют, будто мы вещи.

– Брось. Перекрестись и помолись. Это наваждение. Бесы.

– Мы вещи! Вещи!

– Настя, ну я тебя прошу.

– Проси не проси! Все равно вещи!

«Вещи, все равно», – Мариины губы без мысли, без чувства повторяли слова сестры. Повтор, музыкальная реприза. Еще раз. Как говорит мама по-немецки: *nach einmal*.

– Нох айнмаль!

– Машка, ты что?!

– Форвэртс!

– Ты что, на плацу в Гатчине?!

Мария по-военному повернулась, подняла ногу, не сгибая ее в колене, и стала маршировать по гостиной. На столе звякнула чернильница: Мария тяжело наступила на скошенную половицу.

– Машка! А когда мы уедем отсюда – инженеру вернут особняк?

Мария встала: ать, два.

– Нет. Народ тут сам поселится.

– Народ? Какой народ?

Волосы текли с затылка на плечи Марии густым тяжелым медом.

– Разный. Солдаты, торговки с рынка... может, рабочие.

Здесь же много заводов и фабрик.

– Рабочие, – Анастасия накручивала прядь на палец. –

Но ведь рабочие живут в своих домах! Им есть где жить!

– Они живут в бараках.

– Что такое барак?

– Это такой... большой сарай. Грязный. Там клопы и вши.

Анастасия сделала вид, что ее рвет.

– Фу. Откуда ты все это знаешь? Ты там была? В бараках?

– Да.

– Не ври!

– Я ездила с подарками в рабочие бараки, когда мы были в Костроме. Вместе с тетей Эллой.

– Это когда мы были в Костроме?

– В тринадцатом году. На празднество юбилея династии.

Анастасия смотрела прямо, жестко, и тяжело дышала, будто бежала. Приоткрыла рот.

– И как там? В этих бараках? Страшно?

– Страшно. Как там люди живут? Я не понимаю. Там такие большие комнаты, и в каждой комнате по многу человек. Иные спят на полу, и даже без матрацев, на тряпках. На своей одежде. Есть комнаты получше. Там женщины с детьми.

Дети орут, запахи... – Мария повела плечом, склонила голову к плечу, смотрела косо и снизу, как птица. – Дети тощие. Страшно худые. Нам одного развернули, вынули из пеленок. Пеленки – ветошь. У нас такими тряпками на кухне столы вытирают. Матери плачут: нам детей нечем кормить, у нас молока нет, пришлите хоть молока, каши! Хлеба пришлите! Стася, я стояла и смотрела, и мне стало плохо. Просто плохо. Но я крепилась.

Сестра опустила глаза. Мяла в пальцах край фартука.

– Зачем тогда... поехала?

– Тетя Элла сказала: повезем подарки...

– А какие... подарки? Бусы? Игрушки?

Рот Марии дрогнул и сжался. Так сжимаются створки перловицы, когда ее изловят в реке.

– Что ты. Какие бусы. Хлеб... буханки... Крупа, пакеты, коробки... Рис... гречка... горох... Мясо, консервы... Лекарства, мешки с лекарствами... и надписи, где какое... Детские одеяльца... одежды ворох...

«Гороховые бусы», – неслышно прошептали, сами, ее губы.

Мария покосилась на спину Лямина. Он сидел спиной к девочкам, около изразцовой печи, близ рояля. За поднятым черным Люциферовым крылом рояльной крышки его почти не было видно.

– А иконы? Вы им привезли иконы?

– Нет, – с трудом сказала Мария.

Она смотрела на Лямина, видела из-за рояля его голову, и ей казалось – его уши шевелятся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.